

Юрий Зовнин

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ



ПАМЯТИ
Гумилева
130
ЛЕТ

СЛОВО и ДЕЛО

Памяти Николая Гумилева. 130 лет великому Поэту

Юрий Зобнин

Николай Гумилев. Слово и Дело

УДК 821.161.1.09 Гумилев Н. С.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Зобнин Ю. В.

Николай Гумилев. Слово и Дело / Ю. В. Зобнин —
— (Памяти Николая Гумилева. 130 лет великому Поэту)

К 130-летию Николая Гумилева. Творческая биография Поэта с большой буквы, одного из величайших творцов Серебряного века, чье место в Пантеоне русской словесности рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Блоком, Ахматовой. «Словом останавливали Солнце, / Словом разрушали города...» — писал Гумилев в своем программном стихотворении. И всю жизнь доказывал свои слова Делом. Русский «конкистадор», бесстрашный путешественник, первопроходец, офицер-фронтовик, Георгиевский кавалер, приговоренный к расстрелу за участие в антибольшевистском заговоре и не дрогнувший перед лицом смерти, — Николай Гумилев стал мучеником Русской Правды, легендой Русской Словесности, иконой Русской Поэзии. Эта книга — полное жизнеописание гениального поэта, лучшую эпитафию которому оставил Владимир Набоков: «Гордо и ясно ты умер — умер, как Муза учила. Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем Медном Петре и о диких ветрах африканских – Пушкин».

УДК 821.161.1.09 Гумилев Н. С.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Содержание

Пролог	6
Книга первая. Завоевание Ахматовой	14
I	14
II	20
III	24
IV	30
V	35
VI	43
VII	51
VIII	58
IX	64
X	70
XI	76
XII	85
XIII	93
XIV	98
XV	103
XVI	109
XVII	117
XVIII	125
Конец ознакомительного фрагмента.	126

Юрий Зобнин

Николай Гумилев. Слово и Дело

130 лет великому Поэту Серебряного века

© Зобнин Ю.В., 2016

© ООО «Издательство «Яуза», 2016

© ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

Светлой памяти Елены Алексеевны Зобниной

Империя, ты выйдешь из огня
очищенной и преображенной.
И в Царстве Божием, тобою обретенном,
ты не забудь, Империя, меня!

Юрий Макусинский

Пролог

В ночь со 2 на 3 апреля 1886 года в Кронштадте, в доме Григорьевой по Екатерининской улице, жена старшего врача 6-го флотского экипажа Степана Яковлевича Гумилева Анна Ивановна родила мальчика. Страшная буря над Финским заливом ветхозаветными огненными сполохами озаряла в эту ночь Кронштадтскую крепость, и повивальная бабка, принимавшая трудные роды, едва расслышав из-за громовых раскатов писк младенца, устало изрекла:

– *Ну и бурная жизнь будет у этого парня!*

Отец новорожденного принимал поздравленья. Матерые товарищи по былым походам посмеивались – крепок же балтийский морской волк, устроивший себе такой роскошный подарок к грядущему полувековому юбилею. Но мичманá и даже лейтенанты приветствовали счастливого родителя с почтительной торжественностью. В глазах молодежи этот ветеран с его сединами, роскошными бакенбардами с подусниками, легкой хромотой, пронзительным холодным взглядом и упрямым породистым подбородком, как и многие прежние соратники ушедшего в 1881-м на покой генерал-адмирала Константина Николаевича, уже превращался в живую легенду.

Шептались даже, что никакой он не «Гумилев», а *Рюрикович*, потомок неких тверских или владимирских княжичей, сокрушенных в старину победительной Москвой и приговоренных носить во все времена это прозвище, как стальное, неподвижное забрало на лице – то ли «*усмиренные*», то ли «*втоптанные в грязь*»¹. Путь-де в светскую жизнь был им заказан: мужское потомство *Гумилевых* следовало только по духовной стезе и через несколько поколений утратило память о прежнем величии. К своей сказочной генеалогии Степан Яковлевич был, по-видимому, равнодушен и вполне доволен собственным честно выслуженным дворянством, но среди домашних о семейной легенде иногда вспоминал:

Не пойму, человек или лебедь,
Лебедь с сердцем проколотым я².

К тому же обозримые предки Степана Яковлевича, действительно, предстояли у престолов храмов, только он, взбунтовавшись, не принял по завершении семинарского курса духовный сан и отправился учиться на врача в Московский университет³. Не унывал, был

¹ Латинское *humilis* (от *humus* – «почвенная грязь») имеет значения «смиренный», «незначительный», «презренный», «покорный».

² Не только герой пьесы «Гондла», которому принадлежат эти слова, но и Имр из трагедии «Отравленная туника» являются позабытыми, лишенными прав на трон царевичами. В лирике Гумилева часто встречаются намеки на тайну происхождения, связанную со «шведской», «скандинавской» генеалогией, которые истолковываются как указания на «рюриковскую кровь» в жилах автора, «заблудившегося навеки» «в слепых переходах пространств и времен» («Стокгольм»). «Он был, – свидетельствовал о Гумилеве писатель-переводчик И. фон Гюнтер, – убежденным монархистом. Мы часто спорили с ним; я мог еще верить, пожалуй, в просвещенный абсолютизм, но уж никак не в наследственную монархию. Гумилев же стоял за нее, но я и сегодня не мог бы сказать, действительно ли был он сторонником дома Романовых? Может быть, скорее сторонником Рюриковичей, им самим созданного дома Рюриковичей». Легенду знал и Л. Н. Гумилев, но крайне резко обрывал любые разговоры об этом: в СССР такая наследственность могла стать дополнительным поводом для гонений.

³ Отец С. Я. Гумилева *Яков Федотович Панов* (1790–1858) был псаломщиком церкви Рождества Христова села Желудева Спасского уезда Рязанской губернии. Он женился на *Матрене Григорьевне Гумилевой* (1800–1865), дочери настоятеля храма *Григория Прокопьевича Гумилева* (1745–1820). Непременным условием брака была *смена фамилии невестой, а женихом* – для того времени история невероятная, тем более в духовной среде. Это вновь подтверждает какое-то особое значение, связанное с родовым прозвищем. Яков Федотович Панов превратился в *Якова Федотовича Гумилева*, стал диаконом и прижил в браке семерых детей – *Василия* (1820–?), *Александра* (1823–?), *Прасковью* (1827–?), *Николая* (1830–?), *Александру* (1834–?), *Степана* (1836–1910) и *Пелагею* (1842–?). Все потомство Я. Ф. Гумилева мужского пола

весел, добродушен, благочестив и, не чувствуя в себе расположения к духовной службе, истово верил, что Господь, конечно, не оставит его попечением и на службе гражданской. Он жил уроками и так ловко экономил, что даже сумел ежемесячно выкраивать из своих приработков некоторую сумму для овдовевшей матушки. Когда же представился случай применить себя на военно-морском поприще, Степан Яковлевич возликовал. Отгремевшая Крымская война оказалась для российского флота преображающим горнилом: величавые парусные армады бестрепетно испепелились в жестоком военном пламени, чтобы спустя малое время, как легендарный Феникс, возродиться в быстроходных винтовых фрегатах, миноносных катерах и броненосцах. В российском мореплавании наступил звездный час для молодых энтузиастов, горячих патриотов, азартных честолюбцев – каким был и сам знаменитый генерал-адмирал, великий князь Константин Николаевич, любимый брат императора Александра II⁴.

Таким был и Степан Яковлевич Гумилев, быстро поднявшийся от ординатора в Кронштадтском госпитале до судового врача. Он начал кампанией во внутренних водах на деревянном «Николае I», одном из ранних опытных гибридов линейного парусника с пароходом, а всего через пять лет уже освоил новейший винтовой фрегат «Пересвет», совершивший летом 1865-го крейсерский рейд в Средиземноморье. Пугая турок и нервируя англичан, 51-пушечный «Пересвет» около года курсировал под Андреевским флагом в греческом Архипелаге, наблюдал в Порт-Саиде за строительством Суэцкого канала, навещал православных паломников в Яффе и вернулся в родной порт только осенью 1866-го, сдав средиземноморскую вахту 70-пушечному «Генерал-адмиралу». О пережитом тогда Степан Яковлевич любил при случае вспомнить, но главное дело жизни ждало его не на океанских просторах, а на близких к Петербургу балтийских морских рубежах.

Когда «Пересвет» под оркестр и приветствия бросил якорь в Кронштадте, там уже полным ходом формировался отряд мониторов, предназначенных для береговой обороны столицы. Небольшие железные посудины с едва приподнятыми над водой бортами, вращающимися орудийными башнями и стальными коробками рубок вызывали споры и даже насмешки. Их величали «консервными банками», потешались над черепашиным ходом и уродливым силуэтом, терявшимся на фоне гордой осанки «настоящих кораблей». Но смех стихал, когда назывались калибры орудий и толщина броневых плит. «Один-другой десяток подобных судов вместе с несколькими броненосными фрегатами и батареями – сила весьма почтенная, которая в ожидании будущего развития флота во всяком случае уменьшит охоту «наших доброжелателей» вмешаться во внутренние, домашние дела России», – рассудительно писали «Кронштадтские вести»⁵. Степан Яковлевич оказался в числе горячих

получало духовное образование и предуготовлялось к принятию сана, а дочери вышли замуж за духовных лиц. «Храм Гумилевых» под Рязанью сохранился до наших дней. Каменная Христорожественская церковь с колокольной начала возводиться в 1811 году по инициативе желудевского помещика генерал-лейтенанта П. М. Лунина. Завершилось ее строительство только в 1830 году. В храме был главный престол – во имя Рождества Христова – и четыре придела: во имя Смоленской иконы Божией Матери, святой мученицы Параскевы, святого Петра митрополита Московского и святой великомученицы Екатерины. При храме работали церковно-приходские школы в Желудево и близлежащей деревне Авдотинке.

⁴ Выдающийся политический и общественный реформатор, великий князь *Константин Николаевич* (1827–1892) главным делом своей жизни почитал возрождение российского военного флота, разрушенного несчастной для России Крымской войной 1853–1855 гг. Получив в четырехлетнем возрасте декоративное звание «генерал-адмирала», Константин Николаевич своей дальнейшей жизнью полностью оправдал его и стал величайшим после Петра Великого строителем военно-морских сил Российской Империи. Успех начинаний генерал-адмирала стал возможен благодаря отобранной им целой плеяде молодых, талантливых чиновников-«константиновцев». «Константиновцы», в свою очередь, распространяли новую кадровую политику на все последующие подразделения ВМФ. Некоторые из них, стартовав в Морском министерстве, стали впоследствии видными политическими деятелями в разных сферах управления (как, например, Д. А. Толстой, Д. Н. Набоков, М. Х. Рейтерн и др.). Сам Константин Николаевич после гибели старшего брата – императора Александра II – был отправлен в отставку.

⁵ «Мониторная программа» была принята Морским министерством в 1863 году, во время польского мятежа, который Англия и Франция планировали использовать как предлог для начала боевых действий против России на Балтике.

поклонников свирепых металлических черепах, и десять следующих лет, позабыв о дальних походах, налаживал гигиену и охрану здоровья на судах первой броненосной эскадры Российской Империи. Он обобщал опыт морских учений, анализировал изъяны у матросов-новобранцев, сам мотался по призывным округам, вникая в условия набора, наблюдал развитие недугов во время несения службы, выступал с докладами в Обществе морских врачей, публиковал статьи в медицинских журналах. Взлетел высоко: к сорока годам ходил в надворных советниках (соответствие шестому военному классу капитана 1-го ранга или сухопутного полковника), со Станиславом в петлице и Анной на груди⁶. И, казалось, среди этой клепаной брони, металлических отсеков, тесных башен, чудовищных орудийных жерл и узких железных трапов – он сам постепенно превращался в подобие несокрушимого и неприступного броненосца.

Но что ему оставалось делать? Служба в Кронштадте обернулась вдруг горестным испытанием, отделившим минувшие счастливые годы непроходимым большим обрывом. Там, в прошлой жизни, у Степана Яковлевича была большая любовь. В далеком 1861 году к месту назначения он прибыл с молодой женой, дочерью московского губернского судьи⁷. Северная дождливая Балтика плохо действовала на хрупкую москвичку: дожидаясь обожаемого мужа из очередного плавания, она постоянно хворала, страдала мигренями, простужалась. Сколько-нибудь серьезного беспокойства эти мимолетные хвори не вызывали. Она вообще была мнительна, в ветреные ночи не смыкала глаз, воображая разные опасности на пути своего морехода, а по возвращении радовалась так, словно тот избежал кораблекрушения. Неладное началось в 1869-м, после появления их первеницы Шурочки, когда, вернувшись из летнего похода мониторов вдоль Балтийского побережья, Степан Яковлевич нашел жену вконец измученной родами. В жестоком ознобе, задыхаясь, она слезно умоляла хоть ненадолго свозить ее с малышкой к родным в Москву:

– Там солнышко, зелень, а здесь – одни камни да дождь...

Конечно, об отпуске нечего было и думать! Однако встревоженный Степан Яковлевич немедленно взял в дом сиделку-кормилицу, заподозрив чахотку. Кашель, впрочем, как обычно, скоро улегся. Тем не менее бедную женщину словно подменили. Она вдруг возненавидела Кронштадт, и залив, и крепость, и корабли, чахла, тосковала, плакала и твердила лишь одно:

– Как холодно! А в Москве солнышко...

В Кронштадт прибыли новейшие броненосные лодки «Русалка» и «Чародейка». Это было настоящее чудо – плавучие монстры с двумя 229-мм орудиями в носовой и двумя 381-мм орудиями в кормовой башнях, противоминной артиллерией, двумя паровыми машинами и командой до двух сотен человек. Переведенный во 2-й экипаж Степан Яковлевич вместе с другими энтузиастами из учебного отряда должен был приноровить кошмарные создания к боевым действиям на финском мелководье у береговых крепостей. Ожидаемые результаты поражали воображение. Старший экипажный врач на год позабыл про покой и отдых, заработав в итоге свой первый орден.

А у его жены открылось кровохаркание.

Тут-то он выхлопотал отпуск, конечно. Двухлетнюю Шурочку с кормилицей на время болезни матери отправили к московским родственникам, а супруги срочно выехали в Саратовскую губернию на кумыс, считавшийся тогда панацеей. И, действительно, больная поправилась там, как по волшебству! Осенью она находилась в полном здравии и лишь торопила вернуть дочку. Но занятый на «Чародейке» Степан Яковлевич откладывал поездку, потом

⁶ Орденский крест св. Станислава III степени носили в петлице, а крест св. Анны III степени – на правой стороне груди.

⁷ Анна Михайловна Гумилева, урожденная Некрасова (1841–1872).

ударили морозы, и все было перенесено на весну. Тогда она вновь пригорюнилась и принялась за старое:

– Хорошо в Москве, не то что здесь – голый камень. Я пошла бы теперь погулять с Шурочкой...

В Москву Степан Яковлевич привез весной свинцовый гроб. Малышка так и осталась у деда и двоюродных бабок, а Степан Яковлевич, схоронив жену, вернулся в Кронштадт. Ожесточенный потерей, он совсем забросил опостылевший береговой дом, всецело обернувшись к службе. Покончив с «Чародейкой», морской врач переключился на казематный броненосный фрегат «Князь Пожарский». Все разговоры о «неполноценности» броненосцев давно канули в Лету – Степан Яковлевич победно озирал Большой Кронштадтский рейд с высоты двухтрубного левиафана, которому предстояло нести флаг Империи в океанских просторах⁸. Красавец, впрочем, оказался на редкость своенравным и капризным. Вновь в Москву к дочери коллежский советник выбрался лишь через год, да и то мельком, нашел ее «смышленной» и всячески рекомендовал скорее учить чтению и письму. Еще два года миновало. Осенью 1876-го Степан Яковлевич, взяв наконец отпуск, собрался на московскую побывку. Наряженная по случаю свидания семилетняя Шурочка Гумилева бойко читала страницу за страницей и, в заключение, прошебетала стишок. Родитель повел ее в игрушечный магазин и торжественно вручил огромную – в рост разумницы – куклу на колесиках. Волоча за собой деревянную подругу, радостная Шурочка задержалась у книжной лавки, любуясь яркими обложками. Удивленный выбором, Степан Яковлевич провел пальцем по заголовку:

– А ну, прочитай-ка, что тут написано?

Шурочка, неотличимая в своем праздничном платье от куклы, побледнела как полотно, затряслась и разрыдалась. Степан Яковлевич очнулся, наконец. Усадив девочку рядом, он осторожно начал задавать вопросы, а та, всхлипывая, отвечала. Росла она все эти годы, как полевой цветок, без друзей и знакомых сверстников. Добрые московские бабушки, как водится, души не чаяли в «сиротинке», баловали, лелеяли, наряжали, закармливали до отвала, но в светской грамоте и сами были не тверды, а о прочем воспитании даже не помышляли. Соседка из курсисток взялась «давать уроки», бесконечно перечитывая вслух одни и те же сказки – вот Шурочка и затвердила их наизусть, запомнив даже, где надо перевернуть страницу, где восклицание и где вопрос... Степан Яковлевич погрузился в задумчивость. Таким его нашел капранг⁹ Лев Львов, старший офицер конкурировавшего с «Пожарским» кронштадтского башенного броненосца «Адмирал Лазарев» и добрый приятель по Морскому собранию. Львов, проводивший с женой лето у своей сестры в родовом тверском поместье, выбрался с обеими женщинами поглядеть на Москву. Представив сестрицу-помещицу, капранг потянул было морского врача осматривать кремлевские красоты, но, заметив, что на том лица нет, осекся и тут же предложил любую помощь в невзгоде.

– Положение мое, – хладнокровно отвечал Степан Яковлевич, – по-видимому, безвыходно. Мне немедленно нужно найти для моей Шуры *новую мать!*

Кратко обрисовав положение, он добавил, что, овдовев, не заводил светских знакомств, не имеет на примете никаких подходящих партий, и ему остается разве что просить наудачу руку у какой-нибудь случайно встреченной доброй и благородной женщины.

⁸ «Князь Пожарский» стал первым российским броненосцем, вышедшим за пределы Балтики. В 1873–1875 гг. он совершил дальнее плавание в Средиземное море, успешно выдержав во время перехода жестокий шторм. «Пожарский», как некогда «Пересвет», предназначался для крейсерских операций, конкурируя с британскими рангоутными броненосцами. *Левиафан* – гигантское морское чудовище, упоминаемое в книгах Ветхого Завета, фантастический кит или морской змей.

⁹ *Капранг* – капитан 1-го ранга.

– Вообразите, – мрачно заключил Степан Яковлевич, обращаясь к новой знакомой, внимательно слушавшей его исповедь вместе с братом и снохой, – что бы ответили, к примеру, Вы, если бы я осмелился обратиться с подобной просьбой?

– Я бы ответила, что... согласна!

Месяц спустя, на апостола Фому, Шурочка Гумилева, впервые попав в серединную Россию, с изумлением смотрела на необъятную холмистую осеннюю равнину, раскинувшуюся на много верст вокруг возвышенного Градницкого погоста. Могучий пятиглавый храм Животворящей Троицы, воздвигнутый над окрестными усадьбами и парками, над деревеньками на отлогих склонах, над убранными полями и золотящимися перелесками, благовестил с ажурного поднебесья колокольни. Облетевшая роща у храма была заполнена народом, глазеющим на завершение торжества: светлые домотканые мужицкие рубахи и армяки мешались с цветными платками и вышитыми киками замужних баб, мещанскими и купеческими крашеными чуйками. На паперти, покидая храм, творили крестные знамена помещики в статском, черные золотопогонные балтийцы надевали фуражки, плыли уездные дамы, туалеты которых переливались всеми радужными оттенками. Мелькнула надменная красавица в лиловом полутрауре, за ней – старушка-бонна с двумя нарядными детьми, потом – землестый жандармский офицер и чинная матрона, тянущая за руку румяного карапуза. Маленький, ладный Лев Иванович Львов, держа на полусогнутой руке парадную капитанскую треуголку, развернувшись к надвратной иконе, истово, с поклонами крестился. По толпе зевак прокатился шум, и белоснежный убор новобрачной драгоценным сиянием полыхнул перед соборной площадью.

Двадцатидвухлетняя Анна Ивановна Львова была хороша собой: высокая, с чудесным цветом лица и приятными манерами. Род ее был коренной в здешних местах: ее далекие пращурцы Милюковы владели землями Бежецкого Верха еще при первых московских Романовых¹⁰. Из этих земель и была выделена Слепневская вотчина, превратившаяся в семейное гнездо воинственных и рачительных Львовых, весьма заметных среди уездного дворянства¹¹. Впрочем, эта ветвь уже пресекалась: оба брата Анны Ивановны оказались бездетны¹²; она была младшей носительницей славной фамилии¹³.

¹⁰ Семейные предания упоминают прауродителем бежецких Милюковых (и Львовых) некоего «*князя-воеводу Милюка*», о котором доподлинно ничего не известно. Возможно, изначально под легендарным «Милюком» вообще разумелся *Семен Мелик*, воевода Сторожевого полка московской рати на Куликовом поле, один из героев битвы 1380 г., от которого и пошла вся чрезвычайно разветвленная родословная дворян Милюковых. В той же семейной генеалогии есть указание, что «по грамоте царя Федора Алексеевича в 1682 г. Якову Ивановичу Милюкову за участие в войне с Турецким султаном и Крымским ханом пожалованы поместья в Новоторжковском и Бежецком уездах», но насколько эта информация соотносится с непосредственными предками Гумилева со стороны матери – на настоящий момент не установлено. Достоверно известно, что по переписным книгам 1686 г. «сельцо Слепнево» Ивановского стана Бежецкого уезда было записано за *Потапом Васильевичем Милюковым*, а во время переписи 1710 г. Слепневым совместно (тримя долями) владели братья *Алексей Потапович* (40 лет) и *Никифор Потапович* (37 лет) *Милюковы* и их малолетний (2 года) племянник *Федор Андреевич Милюков*. Во второй половине XVIII века владельцем Слепнево был *Иван Федорович Милюков*, согласно семейным преданиям – офицер, участник «сражения под Очаковым» (вероятно, имеется в виду сам штурм крепости 6 декабря 1788 г. после длительной осады во время Второй Турецкой войны 1787–1891 гг.). Его дочь *Анна Ивановна Милюкова* (1772–1842 или 1857 (?)) получила Слепнево в приданое, сочетавшись со старицким помещиком *Львом Васильевичем Львовым* (1764–1824 или 1825), в браке с которым родила сыновей *Константина* (1803–1842) и *Ивана* (1806–1862).

¹¹ *Л. В. Львов* был выпускником сухопутного шляхетского корпуса, служил под началом Г. А. Потемкина и А. В. Суворова, участвовал в осаде Очакова и в знаменитом штурме Измаила. В отставку он вышел в чине секунд-майора, играл видную роль в общественной жизни Тверской губернии, в 1809–1812 гг. заседал в Бежецком уездном суде. Его сын, лейтенант флота *Иван Львович Львов*, наследовавший в 1842 г. Слепнево, был участником обороны Севастополя 1854–1855 гг. После него поместье перешло вдове *Юлиании Яковлевне Львовой*, урожденной *Викторовой* (1814–1865). У них было пятеро детей – *Яков* (1836–1876), *Лев* (1838–1894), *Варвара* (1839–1921), *Агата* (1840–1897) и *Анна* (1854–1942), которые в разные годы владели поместьем по старшинству или совместно. В 1894–1907 гг. владелицей Слепнева была вдова бездетного Л. И. Львова *Любовь Владимировна* (урожденная Сохатская).

¹² *Яков Иванович Львов* имел приемную дочь *Евгению*, вышедшую замуж за инженера-путейца *И. И. Македонского* и родившую от него сыновей *Игоря* и *Юрия* и дочерей *Любовь*, *Веру*, *Валентину*, *Галину*. Семейство Македонских посещало Слепнево и дружило со всей сводной родней.

Всю жизнь Анна Ивановна провела в русской деревенской провинции среди домашних и крестьян, совершенно не зная, что такое кокетство, флирт, выезды и наряды. Образованьем ее занималась нанятая в дом заезжая *mademoiselle*¹⁴, которая по молодости лет мало разбиралась в ученой премудрости, но добросовестно заставляла воспитанницу долбить французскую грамматику, наказывая за леность зёмными поклонами или вязанием чулок. Упорство, с которым педагогическая методика претворялась в жизнь, принесло плоды. Анна Ивановна не могла существовать без французских романов, была очень набожна и великая рукодельница. От матери, всецело поглощенной слепневским хозяйством, младшая дочь усвоила кроткий нрав, невозмутимое спокойствие и умение обходиться радостями скромной домашней жизни. Навыки эти особенно развились в курском поместье, куда юница была направлена в помощь сестре Агате, надзиравшей за тамошним древним дедушкой Яковом Викторовым, инвалидом Наполеоновских войн¹⁵. Почтенный инвалид на склоне лет впал в детство и интересовался лишь собственными грядущими похоронами. Он нашёл «смертных халатиков», заказал гроб и с удовольствием примерялся лежать в нём, устраиваясь каждый раз все удобнее. Однако по-настоящему помереть ему никак не удавалось. Юная внучка застала Якова Алексеевича за настойчивыми уговорами отслужить по нему отходную, не дожидаясь неоправданно затянувшегося *post mortem*¹⁶. Смущенный сельский священник отказывался, и бедный старец заливался слезами:

– Вот до чего я дожил: и панихиду по мне не хотят петь...

Успокоился он, лишь когда торжественно, со свечами и певчими, отпели при нём какого-то усопшего местного мужика по имени Яков. Чувствительные дворовые девки с деревенскими бабами плакали в голос. Слепенький Яков Алексеевич растроганно подтягивал «Вечную память», потирал ладошки и весело справлялся у такого же древнего, как и он, денщика, неотлучно дремавшего при барине:

– А что, Павлюк, погода-то, погода какая нынче?

Тот пробуждался на миг:

– Плохо, ваше благородие... поземная поперла!

За окном в палисаднике надрывались, ликуя, звонкие курские соловьи.

Всякая другая девица на месте Анны Ивановны, оказавшись в Викторровке, взвыла бы по-волчьи. Она же нисколько не растеряла присутствие духа, безропотно читала вслух газеты (как и требовал ветеран, «по-честному, от доски до доски»), выезжала с обоими стариками в Курск на закупку материи и кружев для очередных «смертных халатиков» и, по видимому, даже привязалась к ветхим чудачкам.

– Сколько же тебе лет, дядя Павлюк? – изумленно спрашивала она.

– Эх, голубушка, – горько отвечал денщик, – обоим нам с барином *без двух девяносто!*

Схоронив Викторова, преставившегося одновременно со своим верным Санчо Пансой, сестры продали отписанное им курское имение. Агата к этому времени вышла замуж за местного жандармского офицера Владимира Покровского¹⁷, а Анна, получив долю наслед-

¹³ В семейной генеалогии Гумилевых непосредственным пращуром Львовых упоминается «*Пимен Львов*», которому были «выданы императрицей Елисаветой Петровной жалованные грамоты в Осташковском уезде». Достоверно известно о прапрадеде Гумилева *Василии Васильевиче Львове* (1730–1800), помещике из села Васильково Старицкого уезда Тверской губернии. Уроженцем Василькова записан его сын *Л. В. Львов*.

¹⁴ Девица благородного происхождения (*фр.*).

¹⁵ *Яков Алексеич Викторов* (1780–1872), помещик Старо-Оскольского уезда Курской губернии, воспетый правнуком: «Мой прадед был ранен под Аустерлицем / И замертво в лес унесен денщиком, / Чтоб долгие, долгие годы томиться / В унылом и бедном поместье своем». После разгрома Великой Армии Наполеона в 1812–1813 гг. Я. А. Викторов, оправившись от тяжелых ран, женился на однофамилице, курской помещице *Агафье Васильевне Викторовой* (†1857) и имел от нее дочь *Юлианию*, бабушку Гумилева.

¹⁶ Смертный исход (*лат.*).

¹⁷ Этот брак был крайне неудачен, ибо *В. П. Покровский* (†1896) оказался хроническим алкоголиком и патологическим

ства, вновь отправилась в Тверскую губернию – навстречу судьбе. Став хозяйкой в доме сорокалетнего вдовца, она принялась умело, с незаметной и терпеливой настойчивостью устраивать в его военно-морской берлоге тот великорусский патриархальный помещичий уют, к которому привыкла и без которого не мыслила свои будни. Вскоре Степан Яковлевич осознал, что, занятый судьбой дочери, он попутно нашел собственное счастье и влюбился в свою новую молодую жену ревнивой и страстной любовью. Он уже ощущал начинавшую приступать раннюю старость, дававшую о себе знать постоянными болями в ногах. Это был ревматизм, вечное проклятье моряков, превратившийся в подлинное бедствие среди экипажей броненосцев. Не знавший прежде отдыха, морской врач все чаще начал брать отпуска и лечился за казенный счет в водных санаториях Старой Руссы, Кисловодска и Пятигорска. Но немощь не отпускала. Чужа закат, Степан Яковлевич роптал на года, на болезнь, делаясь раздражительным, сварливым, деспотичным. Жена с другим характером, возможно, и не ужилась бы с ним, но Анна Ивановна старалась все сгладить.

– Я ведь твой буфер, папочка, – смеялась она, – потому ты и избегаешь всяких столкновений!

С падчерицей молодая мачеха сразу взяла ровный, доброжелательный тон, не обижая ребенка не только делом, но даже и словом, но и не потакавая капризам. Та, избалованная у московских бабушек, нарочно шалила и своевольничала. Степан Яковлевич поспел вовремя: еще немного, и его Шура превратилась бы в совершенную дикарку. Особенно тяжело приходилось ей летом, когда мачеха забирала ее в свое бежецкое Слепнево, куда съезжалась с детьми вся львовская родня. Но спокойствие и уравновешенность Анны Ивановны делали свое дело, и строптивая девочка мало-помалу привыкла к новой жизни.

В кронштадтском доме морского врача на Екатерининской улице установился безмятежный мир. С дочерью Шурой усердно занималась домашняя учительница. Молодая жена Степана Яковлевича умело управлялась с прислугой, просила на руки лишь то небольшое, что требовалось по хозяйству (он, думая о потомстве, расчетливо экономил и вкладывал деньги в рост, преумножая сбережения), была хлебосольна и гостеприимна. По вечерам собирались знакомые, играли в винт; беременная Анна Ивановна сидела с пальцами, слушая краем уха докторские разговоры. Монотонная жизнь вовсе не казалась ей несносной: по своему обыкновению, она постоянно устраивала маленькие незаметные радости – ходила с падчерицей на карусели, покупала ей и себе какие-нибудь лакомства или читала после полуночи. Страсть к французским романам не оставляла ее и была, вероятно, единственным недостатком в глазах мужа. Увлеченная каким-нибудь особо занимательным поворотом сюжета, она вмиг позабывала все на свете, и даже если Степану Яковлевичу случалось в это время обратиться к ней – нетерпеливо махала рукой:

– Сейчас, сейчас, папочка, я только один момент!..

Новорожденную дочку она нянчила самозабвенно и, выхаживая ее, отрешилась от прочих домашних забот. Тем временем наставница Шуры Гумилевой забила тревогу: войдя в опасный возраст, отроковица обнаружила дурные наклонности – упрямство, злобу и скрытность. Степан Яковлевич поспешил устроить выросшую старшую дочь в институт благородных девиц. В первый же день за какую-то пустяковую шалость ее поставили к стене «замаливать грехи». Она только кривила губы в злой улыбке. Другие ученицы давно извинились и ушли спать. Не добившись от новенькой ни слова, классная дама со вздохом отпустила упрямыцу:

ревнивцем; несчастная жена с сыном Борисом пряталась от его буйств у родственников в тверской усадьбе. *Б. В. Покровский* (1872–1915), завершая гимназию, жил в Петербурге приживальщиком у Гумилевых; он пошел по военной части, служил в Генеральном штабе. Вплоть до кончины он сохранял хорошие отношения со своими бывшими опекунами. Его дочь *Елена Борисовна Чернова* (в первом браке Гиппиус, 1899–1988) написала интересные воспоминания о семействе Гумилевых и других своих родственниках.

- Что только скажет твоя мама, когда это узнает?
- У меня нет мамы, она давно умерла.
- Ах, бедняжка, ну не плачь, я сама росла без матери...

«Целый час проговорили они, и с этих пор девочка окончательно переменилась: стала кротка и послушна, и учителя не могли нахвалиться ее успехами. Пребывание в институте было самое счастливое время в жизни Шурочки. Подруги ее любили за ее веселый характер, увлекательные «романы», которые она сочиняла и, не имея времени и бумаги, рассказывала, за ее незлобивые шалости и «честность», не позволявшую ей выдавать подруг! Да, это было, действительно, счастливое время!»¹⁸

А Анну Ивановну со Степаном Яковлевичем постигло большое горе: несмотря на все заботы, их первеница не перенесла какой-то детской болезни и умерла в 1883-м, не достигнув пяти лет. На следующий год, в утешение осиротевшим супругам, родился сын Дмитрий, здоровый и крепкий мальчик. Годом позже Анна Ивановна снова понесла, и в грозную ночь со 2-го на 3-е апреля 1886 года на свет появился последний, младший ребенок – Николай.

¹⁸ «Записи о семье Гумилевых», составленные Александрой Степановной (откуда взят этот автобиографический фрагмент), свидетельствуют о незаурядном литературном даровании сводной сестры Гумилева. Известно, что она, работая педагогом, писала пьесы для детей и ставила их со своими учениками в школьном драматическом кружке. К сожалению, кроме «Записей...», другие ее сочинения пока не найдены.

Книга первая. Завоевание Ахматовой

I

Крещение. Отставка С. Я. Гумилева и переезд в Царское Село. Братья Гумилевы в детстве. «Колдовской ребенок». Дача в Поповке. Б. В. Покровский. Поручик Сверчков. Замужество Шуры Гумилевой. Неудачное начало учебы. Болезнь. Домашний учитель Б. И. Газалов. Смерть императора Александра III. Смерть Л. И. Львова. «Северное страховое общество». Переезд в Петербург. Подготовка в гимназию. Ходыньское предзнаменование.

15 апреля младенец Николай был крещен в кронштадтской Морской Военной Госпитальной Александро-Невской церкви. Таинство крещения совершал протоиерей Владимир Краснопольский, восприемниками были дядя новорожденного, капитан 1-го ранга Л. И. Львов и сводная сестра Александра, институтская выпускница. Вскоре вся семья вместе с крестным отправилась отдыхать в Слепнево, так что первые месяцы жизни Гумилев провел в древнем родовом имении предков под Бежецком:

О Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь...

Николай был поздним ребенком. Год его рождения оказался последним годом морской службы для пятидесятилетнего родителя. Старший судовой врач 6-го экипажа, кавалер орденов св. Анны 3-й степени и св. Станислава 3-й и 2-й степеней Степан Яковлевич Гумилев вышел в отставку в феврале 1887 г. в чине статского советника «с увольнением по болезни с мундиром и пансионом». Карьера получилась основательной: носитель чина статского советника, пятого в «Табели о рангах», считался «гражданским генералом».

Излюбленным местом проживания заслуженных столичных ветеранов было в те времена Царское Село, считавшееся самым здоровым во всей Петроградской губернии. Защищенное от холодного морского ветра Пулковскими и Дудергофскими высотами, Царское, возвышаясь над Павловском и Гатчиной, не знало туманов, до глубокой осени омывалось легкими вечерними росами и славилось кристальной чистотой воды в источниках. Знаменитая железная дорога за полчаса доставляла царскоселов прямо в петербургский центр, к Семеновским казармам и Гороховой улице. Всю вторую половину XIX века уютный придворный городок, затерявшийся в зелени императорских парков, не переставал быстро расти. Никакой промышленности, не считая небольшой обойной фабрики, в Царском Селе никогда не было в помине, равно как и крупной торговли – рост шел за счет гвардейской аристократии, пополнявшей военный гарнизон, шедших в гору петербургских чиновников-карьеристов, первыми в России оценивших прелести жизни в *suburb*¹⁹, и удалявшихся на покой маститых отставников. Военные облюбовали себе район Софии на юге, чиновники селились в кварталах, примыкающих к вокзалу, а отставники населяли центр города, вокруг Екатерининского собора и Гостиного двора. Степан Яковлевич не стал исключением из общего правила: в начале 1887 года он купил деревянный дом с мезонином, флигелями и садом на улице Московской, ставший для его младшего сына обиталищем младенческих пенатов.

¹⁹ Пригородный район особняков в мегаполисе (англ.).

– Меня очень баловали в детстве, – рассказывал Гумилев. – Больше, чем моего старшего брата. Он был здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я – слабый и хворый. Ну, конечно, моя мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фантастически...

Отец, вздыхая, величал свое болезненное голубоглазое и белобрысое чадо *«опавшим листиком»*. Из-за преступной небрежности кормилицы к многочисленным хворям, постоянно одолевавшим младшего сына, добавился зрительный астигматизм – годовалым он серьезно повредил себе бровь и веко осколком стекла. Зрение удалось спасти, но левый глаз после операции заметно косил, делая взгляд похожим на иконописные взоры древних святых. Сверстники дразнили его, и бедный малыш, в отличие от брата, постоянно носившегося с соседними мальчишками, отсиживался в детской, в компании ежа, морских свинок и попугая, или бегал в саду у дома наперегонки с рыжей собакой Лиской, которая от него не отходила ни на шаг:

Косматая, рыжая, рядом
Несется моя собака,
Которая мне милее
Даже родного брата,
Которую буду помнить,
Если она издохнет.

Он поздно начал говорить, плохо выговаривал многие звуки и, стесняясь, предпочитал молчать. Но добрым был очень, прятал за обедом свои пряники и конфеты, собирая гостинец для старой прислуги Гумилевых, «тетеньки» Евгении Ивановны, навещавшей прежних хозяев по воскресеньям. Других гостей он не любил. Если к Степану Яковлевичу приходили морские товарищи, привозившие отставному корабельному врачу чужеземные диковины и бочонки с заморским вином, младший сын дичился где-нибудь в углу гостиной, ища случай поскорее улизнуть. Но мог и удивить всю отцовскую компанию, откликнувшись на экзотические речи мореходов, под аплодисменты и хохот, неожиданным экспромтом:

Живала Ниагара
Близ озера Дели!
Любовью к Ниагаре
Вожди все летели!

Любил он слушать, как мать или нянька читают волшебные сказки, истово верил в существование чародеев и магов, заучивая наизусть их мудреные заклинания. Когда явившиеся в грозовой день царскосельские гости заскучили за картами под ливень на сырой веранде, Степан Яковлевич кивнул на младшего сына, непрямо возившегося с Лиской:

– Никакой надежды на прогулку нет, господа! Разве вот только мой волшебник нам поможет...

«Опавший листик» послушно соскользнул из плетеного кресла и встал в скользком и ветреном дверном проеме перед водными потоками. Выученные заклинания почему-то позабылись, поэтому он протянул руку и просто попросил:

– *Дождик, перестань!*

Молния расколола напополам небо над Царским Селом, докатившись послушным блеском к ногам четырехлетнего малыша, рыжая Лиска отпрянула, ошестинившись и рыча, глухо отозвался последний гром – и ливень исчез как ни бывало, и ветер тут же стих. Морские волки переглянулись.

– Ну вот, господа, я же говорил, – нашелся Степан Яковлевич. – А теперь прошу на прогулку...

«Когда сыновья были маленькими, Анна Ивановна им много читала и рассказывала не только сказки, но и более серьезные вещи исторического содержания, а также и из Священной Истории, – сообщает один из первых биографов Гумилева. – Помню, что Коля как-то сказал: «Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы бывают впечатления в детстве! Как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя». Дети воспитывались в строгих принципах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней – глубоковерующим христианином. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. Но по характеру он был скрытный и не любил об этом говорить».

В 1890 году Степан Яковлевич, повинуясь неодолимому модному поветрию, приобрел у инженера-технолога Михаила Подобедова дачный участок в местечке Поповка, верстах в десяти к востоку от Царского Села. Глава «Товарищества для эксплуатации электричества М. М. Подобедов и К^о», оборудуя на полустанке Николаевской железной дороги пункт погрузки, увлекся окрестными лесными красотами и, завершив железнодорожный подряд, прикупил вокруг полустанка земли под собственное имение и для продажи под летнее жилье. Дачный бум бушевал в России, а предприимчивый Подобедов обещал покупателям участков выгодную рассрочку и – в ближнем будущем – загородный рай с конкой от станции, электрическим освещением, магазинами, купальнями, летним театром и прочими благами цивилизации. Степан Яковлевич попал в число первых дачников «Подобедовки», вступив (не без выгоды для себя) в местный кооператив по мелиорации и благоустройству дорог. Вероятно, на следующий год он уже начал вывозить семейство. В лесном приволье Поповки «опавший листик» ожил, сражался с соседским индюком, выслеживал драконов в зеленом болоте за околицей и даже присоединился к приятелям брата, устраивавшим индейские войны. В новой компании он вдруг немедленно пожелал быть вождем, а когда добродушный Дмитрий попытался урезонить малолетнего властолюбца – горячо пообещал, что непременно подчинит себе всех:

– Я же упорный, я заставлю...

– Если хочешь быть вождем, упорства мало, – засмеялись мальчишки и протянули малышу с иконописным взглядом только что пойманную трепещущую рыбку. – На-ка вот... Откуси живому карасю голову – тогда и посмотрим!

И Гумилев отказался стать индейским вождем. Он стал воевать в одиночку, сокрушая целые легионы лопуха и мать-и-мачехи:

Я за то и люблю затеи
Грозных военных забав,
Что людская кровь не святее
Изумрудного сока трав.

У Гумилевых появился приживальщик Борис Покровский, явившийся из Курска. Там средняя из сестер Львовых, Агата, выбивалась из сил, ухаживая за своим бесталанным мужем-жандармом – после отставки, вслед за алкоголизмом, его постигло слабоумие. Агата Ивановна умоляла родню устроить единственному сыну возможность без помех завершить школьный курс и получить аттестат. Степану Яковлевичу пришлось усиленно хлопотать в «придворной» царскосельской Николаевской мужской гимназии²⁰. Вместе со старшим

²⁰ Старший сын императора Александра II великий князь Николай Александрович (1843–1865) скончался от туберку-

сыном Дмитрием, зачисленным в подготовительный класс, племянник был пристроен в класс выпускной. Впрочем, Покровский-младший оказался необременительным постояльцем, возился с двоюродными братьями, был смышлен, неприхотлив и учился на совесть²¹. Куда больше волнений балтийскому ветерану доставляла дочь, неожиданно влюбившаяся в *вертопраха*. То был сын местного художника-неудачника, поручик пограничной стражи Леонид Сверчков, прибывший на побывку к родителю. Гол как сокол, этот поручик обладал многими талантами – с чувством пел, играл на скрипке, умел поддерживать оживленный разговор, описывая всевозможные приключения на границе. Недавняя институтка, мало разбиравшаяся в жизни, натурально, потеряла голову, разрушив, к отчаянью Степана Яковлевича, сразу две намечавшиеся солидные партии. Степан Яковлевич сначала пытался убеждать добром, потом вспылал, отказал вертопраху от дома. Но ничуть не бывало: дочь стояла на своем так упорно, что оставалось лишь махнуть рукой. В мае 1893-го Шурочка Гумилева превратилась в *Александру Степановну Сверчкову*, получила от негодующего отца 10 000 приданого²² и укатила с мужем куда-то в пограничную тьмутаракань, на кордон Радоха у польских Катовиц.

Младший ее брат как раз в это время начал готовиться к поступлению в Николаевскую гимназию. Вступительные экзамены в подготовительный класс семилетний Гумилев сдал с легкостью, поскольку «незаметно», по выражению матери, выучился читать и даже самостоятельно освоил том «Сказок» Андерсена. Но в гимназических классах он пробыл только месяц с небольшим – слег с кашлем и жаром. Больному поставили диагноз – острый бронхит. То ли произошла врачебная ошибка, то ли возникли какие-то неизвестные медицинской науке осложнения, но ребенок провел в постели всю осень и зиму, постоянно впадая в беспамятство и угасая. Для Анны Ивановны, не отходившей от больного сына, начался многомесячный кошмар. Кое-как поднялся на ноги он только к весне, но плохо слышал и мучился сильнейшими головными болями, которые лечащий врач приписывал «повышенной умственной деятельности» (!). После болезни с мальчиком явно происходило что-то странное. Апатичный и сонный, он сутками не обращал никакого внимания на окружающих, не откликался на вопросы, затем, словно пробудившись, вдруг изумлял красноречием – и тут же начисто позабывал сказанное. Похоже, что он мучительно вспоминал что-то, давным-давно известное, но ускользающее из памяти. Так некогда древние философы описывали таинственный *ανανησις* – *анамнесис*, мистическое *припоминание* у пророков и ясно-видцев.

О гимназии нечего было и думать. В доме, в помощь к царскосельской няньке Мавре Ивановне (души не чаявшей в «малом»), появился студент Баграпий Газалов, понемногу занимавшийся с выздоравливающим по школьным учебникам. Эти домашние занятия затянулись почти на два года – все это время лечащие врачи категорически не рекомендовали родителям допускать младшего сына к классным занятиям. Терпеливый Газалов, тоже привязавшийся к воспитаннику, старался приноровиться к его необычной манере общения, но

лезного менингита в 1865 году, после чего право наследования перешло к его брату, великому князю Александру Александровичу (будущему императору Александру III). Память о трагически погибшем юном цесаревиче, подававшем большие надежды, благоговейно сохранялась в романовской семье, и основанная в честь покойного в 1870 году царскосельская мужская гимназия пользовалась поддержкой царствующих особ и имела некоторые «придворные» привилегии. Первым директором стал Н. И. Пискарев; после его кончины в 1887 году Николаевскую гимназию десять лет возглавлял филолог и литератор Л. А. Георгиевский.

²¹ Двоюродный брат Гумилева *Б. В. Покровский* после завершения гимназии поступил в юнкерское училище, завершив которое служил по гарнизонам (а с 1910 г. получил назначение в Главный Штаб). С царскосельской родней он поддерживал близкие отношения, наезжал при случае в гости. В 1898 г. он женился на С. Н. Гололобовой.

²² Не доверяя зятю, «любившему покутить», С. Я. Гумилев обязался первые годы выплачивать проценты с приданого дочери, не передавая в распоряжение ее супруга весь капитал. Он оказался прав. «Ох уж этот май! – писала А. С. Сверчкова в рассказе о своем своевольном замужестве. – Плохо тем, кто в этом месяце родится или выходит замуж: всю жизнь будет маяться. Так оно вышло. Через месяц... поняла, что сделала ошибку, но поправить, конечно, было нельзя».

представить такого ученика на рядовом школьном уроке не представлялось возможным. Была и еще одна странность, возникшая в ребенке после болезни: он, по словам матери, постоянно сочинял и пытался записать некие стихотворные «басни». Однако, за всем прочим, на эти непонятные литературные опыты никто из домашних и врачей серьезного внимания, разумеется, не обращал.

20 октября 1894 года Царское Село вместе со всей Россией облеклось в глубокий траур: в крымской Ливадии безвременно ушел из жизни император Александр III. В историю он вошел под именем *Миротворца* – тринадцать лет страна не знала ни мятежей, ни кризисов, ни войн, двигаясь, по выражению премьер-министра Витте, «на путь спокойного либерализма». Для отечественных смутьянов, загнанных в глухое подполье или эмиграцию, внезапная кончина государя подавала надежду на ослабление политического гнета. Большинство же россиян, не имевшее причин сетовать на ровное течение будней, искренно оплакивало могучего царя-миротворца, внушившего каждому обывателю незыблемую уверенность в своем завтрашнем дне. Оставалась надежда на наследника-цесаревича, вступившего на русский трон под именем Николая II, но он был юн, и можно было только гадать, как успешно он сможет распорядиться громадным и изобильным до пестроты отцовским наследством.

В траурный для России год Гумилевых постигла семейная утрата: скончался любимый брат Анны Ивановны и друг-сослуживец Степана Яковлевича Лев Иванович Львов. Выйдя в отставку контр-адмиралом, он жил с женой в родовом Слепневе, прослав у местных мужиков крепким хозяином и добрым человеком²³. Смерть произошла от того самого, заработанного на балтийских броненосцах ревматизма, который мучил и Степана Яковлевича. Но бывший морской врач еще держался. Бездеятельный покой начал его тяготить. Через каких-то знакомых (возможно, встреченных на поминках по ушедшему контр-адмиралу) Степан Яковлевич оказался вовлечен в дела «Северного страхового общества», ведающего огневым и транспортным страхованием по всем губерниям Российской Империи, – и вскоре получил выгодную должность в Петербургском отделении.

Присутственное место новой службы находилось в Кокоревских складах на Лиговском проспекте близ Николаевской железнодорожной ветки. Осенью 1895 года Степан Яковлевич продал царскосельский особняк своему доброму знакомому, старшему лекарю Кирасирского полка В. А. Бритневу, и перевез семью в Петербург, в дом купца Шалина на углу Дегтярной и 3-й Рождественской улиц. Братьям Гумилевым предстояло осваивать теперь петербургские городские кварталы-муравейники, примыкающие к вокзальной Знаменской площади. Транспортное городское подбрюшье было, в отличие от загородного царскосельского рая, и чадным, и шумным, и людным, но на младшего брата пребывание среди петербургской человеческой суеты подействовало самым благотворным образом. К весне 1896 года он окончательно расстался и с мигренями, и с глухотой, и с «баснями». Правда, десятилетний отрок так и продолжал держаться вялым нелюдимом, неуклюжим, неряшливым и застенчивым, но это в глазах докторов не было препятствием к школьному образованию. Баграпий Газалов готовил воспитанника к вступительным экзаменам. В самый разгар их занятий

²³ О последних годах жизни крестного отца Гумилева контр-адмирала Л. И. Львова сохранились воспоминания одной из слепневских крестьянок: «Он был небольшого роста, часто ходил в белом генеральском кителе. Его жена Любовь Владимировна была невысокая, худощавая, добрая женщина. Немного знала медицину. Она вылечила мою мать, когда ей лошадь проломил голову... У Льва Ивановича было много земли, и он занимался сельским хозяйством. Он завел много лошадей и коров. Купил племенных быков, которых использовали крестьяне всей округи для улучшения породы своего скота. На своей пашне он впервые вместо сохи применил металлический плуг. Очень скоро его новшеством стали пользоваться зажиточные крестьяне не только Слепнева, но и соседних деревень. Лев Иванович был очень добрым, отзывчивым человеком. Он часто помогал своим крестьянам приобрести необходимый инвентарь, купить нужные вещи. Для этой цели он завел толстую книгу, куда записывал фамилии должников и сумму долга. В свои записи он никогда не заглядывал. Очень многие об этом знали и часто пользовались его добрым расположением, в результате эти долги никогда и никто не отдавал... После его смерти владельцем имения стала жена барина Любовь Владимировна».

из Москвы, где после завершения годового траура начинались коронационные торжества, пришло грустное известие. Во время раздачи «царских гостинцев» (кружка с позолоченным вензелем, пряник, булка с колбасой да чарка вина) черный народ, загодя ринувшийся толпой на Ходынское поле, произвел кровавую давку у деревянных буфетов и павильонов. Задохнулась и покалечилась насмерть едва ли не тысяча человек. Называли, впрочем, и более устрашающие цифры, но и без преувеличений сплетников было ясно, что на коронации юного царя случилось некое злое предзнаменование и что на привычный будничней мир в новом царствовании подданным Российской Империи надеяться, вероятно, не стоит.

II

В гимназии Я. Г. Гуревича. Классный наставник Ф. Ф. Фидлер. Кончина А. И. Покровской. Поездка в Железноводск. Пушкинский юбилей. Гумилев и одноклассники. Круг чтения и ранние творческие опыты. Подростковый кризис. Отъезд из Петербурга. Путешествие по Волге и Кавказу.

Частную гимназию Якова Григорьевича Гуревича, занимавшую огромное Т-образное здание с внутренними дворами на перекрестке Лиговского проспекта и Бассейной улицы, в Петербурге насмешливо именовали «гимназией для двоечников»²⁴. Столичные аристократы и знаменитости охотно сбывали сюда малолетних лоботрясов-наследников, уверенные, что в области просвещения и воспитания для редактора-издателя «Русской школы»²⁵ и его педагогов ничего невозможного нет (по слухам, у Гуревича притих, взявшись за ум, даже такой редкостный оболтус, как Феликс Юсупов, неудавшийся младший сын графа Сумарокова-Эльстона). Словесность тут преподавал литературный критик Евгений Гаршин (брат писателя), родную речь – университетский лингвист Сергей Булич, рисование и черчение – известный от Петербурга до Казани и Нежина скульптор-монументалист Пармен Забелло, немецкий язык – поэт и переводчик Федор Фидлер. Возможно, обилие громких имен и явилось для нечуждого тщеславия Степана Яковлевича Гумилева решающим импульсом, подвигшим остановить родительский выбор на «Лиговский гимназии».

Разумеется, «золотая молодежь» привносила в местную гимназическую среду своеобразные оттенки. Как раз в дни, когда Степан Яковлевич вел разведку, в очередной раз нашумели выпускники. Семиклассники Михайловский (сын «того самого» Михайловского²⁶) и Гайдебуров (сын «того самого» Гайдебурова²⁷) вместе со своим заводилой Сергеем Маковским (сыном «того самого» придворного художника²⁸) устроили для одноклассников литературно-мистическую вечеринку: оклеили квартиру Маковских черной бумагой вперемешку со страшными рисунками, добыли из биологического кабинета человеческий череп, зажгли церковные свечи, облачились в саваны и, завывая, читали мерзкие вирши под похоронные аккорды фортепиано и взвизги приглашенных курсисток (кто-то даже упал в обморок). Это было новомодное «декадентство» – умственная зараза, занесенная в Россию вместе с переводными томиком сумасшедшего немца *Нитче* и французского извращенца Гюисманса,

²⁴ Частная гимназия и реальное училище были открыты в доме № 1 по Лиговскому проспекту в 1870 г. надворным советником Ф. Ф. Бычковым, однако расцвет школы начался с 1883 г., когда благоустроенное учебное – здание с мебелью и библиотекой у Бычкова купил Я. Г. Гуревич, который и создал здесь неповторимый педагогический ансамбль. Учебное заведение Гуревича имело права казенных гимназий и считалось одной из самых лучших (и дорогих) средних школ города.

²⁵ В истории русской педагогики Я. Г. Гуревич (1843–1906) остался как убежденный противник «прусской» образовательной системы, которую он считал «неудачным заимствованием» отечественной средней школы. Педагогическая система Гуревича (весьма туманная) была направлена на преодоление «германизма» и поиск «национальной самобытности». Для проведения своей линии Гуревич с 1890 г. издавал популярный среди интеллигенции журнал «Русская школа», в который привлек Д. Н. Кайгородова, П. Ф. Лесгафта, К. К. Сент-Илера, В. П. Острогорского, И. Ф. Анненского, К. Н. Модзалевского, В. И. Срезневского, А. Н. Страннолюбского и многих других крупнейших ученых и педагогов того времени.

²⁶ Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – публицист, литературный критик, издатель, общественный деятель; духовный вождь либерального народничества, главный редактор журнала «Русское богатство».

²⁷ Гайдебуров Павел Александрович (1841–1893) – журналист, издатель, общественный деятель; владелец журнала «Неделя». Его сын, выпускник гимназии Гуревича П. П. Гайдебуров (1877–1960), стал впоследствии известным театральным деятелем, народным артистом РСФСР.

²⁸ Маковский Константин Егорович (1839–1915) – популярный петербургский художник, близкий ко двору Александра II, автор многочисленных портретов императора и его семьи. Его сын Сергей после развода родителей жил с матерью Ю. П. Летковой-Маковской на Надеждинской улице, где и состоялось все «декадентское действо».

автора «À rebours»²⁹. Но в младших группах, куда Степан Яковлевич прочил своих сыновей, судя по всему, царила полная благодать; отставной статский советник, вздохнув, начал составлять соответствующее прошение.

Десятилетний Гумилев выдержал экзамены и с осени 1896 года стал ежедневно посещать классы. Тоска охватывала его уже в Греческом садике, на Бассейной становилась невыносимой, а вид утреннего Лиговского проспекта, уходившего стрелой к Знаменской площади отзывался болезненной зевотой. Весь первый учебный год он одиноко маялся на «камчатке»³⁰, равнодушный как к одноклассникам, так и к педагогам. Энергичный немец Федор Федорович Фидлер, взявший под руководство младших учеников, приходил в отчаянье от косоглазого переростка – все хитроумные приступы вызвать его на беседу разбивались об угрюмое тупое молчание³¹. Впрочем, иногда на уроках истории и географии мизантроп вдруг, ни с того ни с сего, принимался блистать, и потому, по общему приговору, первоклассник Гумилев считался хитрецом и лентяем каких поискать.

Летом 1897 года после завершения учебного года Гумилевы, как обычно, отправились в Поповку. Братья освоили велосипед. Модная новинка – чудо европейской технической мысли, – приобретенная Степаном Яковлевичем, имела большой успех среди подобедовских дачников, и его сыновья, щедро ссужая своего железного коня напрокат, оказались в центре внимания всего дачного поселка. Дмитрий инструктировал новичков, а Николай следил за строгим исполнением прокатных сроков. От желающих не было отбоя, и на улице постоянно слышались его картавые звонкие команды:

– Петухов! Немедленно с'езайте! Петухов, дайте же п'окатиться д'угим! Петухов! Вы с'ышите меня?! Гово'ю Вам, как дво'янин дво'янину!!

В 1897 году Анну Ивановну настигла печальная весть из Курска – от черной оспы скоропостижно скончалась ее несчастливая сестра Агата Покровская, ненадолго пережившая безумного супруга. А сырым летом внезапно резко ухудшилось здоровье Степана Яковлевича, приступы ревматизма продолжались непрерывно, и врачи потребовали срочного лечения больного на Кавказских водах. По настоянию испуганной Анны Ивановны, главу семейства в Железноводск сопровождали все домашние. «... Я мальчиком попал на Кавказ, – рассказывал Гумилев. – И на Кавказе впервые влюбился, не во взрослую барышню, а в девочку. Я даже не помню, как ее звали, но у нее были голубые глаза и светлые волосы. Когда

²⁹ *Декадентство* (фр. *decadence* – упадок) – общее обозначение для процесса общественной «переоценки ценностей» (Ф. Ницше или *Нитче/Нитше*, как переводили фамилию *Nietzsche* первые русские публикаторы), происходившей на рубеже XIX–XX вв. под воздействием НТР и возникновения новой, «постиндустриальной» цивилизации в Европе, России и США. Наряду с философскими трудами Ф. Ницше провозвестником идейного и нравственного кризиса «конца века» (*fin de siècle*) стал вышедший в 1884 г. роман «Наоборот» Ж.-К. Гюисманса (1848–1907), рассказывающий о вкусах и взглядах болезненного аристократа Флорессаса Дез Эссента, уединившегося от житейской суеты и скуки и живущего фантазиями, грезами и воспоминаниями. Следует отметить, что дочь директора «Лиговской гимназии» Любовь Гуревич в 1891–1898 гг. была главным редактором журнала «Северный вестник» – первого столичного издания, публиковавшего произведения зарубежных и отечественных «декадентов».

³⁰ В гимназическом жаргоне «камчаткой» именовался последний ряд классных парт, куда обычно рассаживали двоечников и нарушителей дисциплины.

³¹ Встреча впоследствии Гумилева на петербургских литературных собраниях, Ф. Ф. Фидлер (1859–1917) именовал его не иначе, как «мой бывший ленивый ученик». По иронии судьбы, Фидлер был первым знакомцем Гумилева, непосредственно причастным к «большой» русской словесности. Он являлся распорядителем «Литературного фонда», организатором многих знаменитых петербургских «литературных обедов» и других мероприятий, собирателем автографов и рукописей (А. И. Куприн воспел эту страсть в эпиграмме: «Юбилеют ли медведя, / Червяка ль кладут во гроб, / Так сейчас же Фидлер Федя / Пристает, писали чтоб»). Много лет Фидлер вел обстоятельный дневник, который, опубликованный в наши дни, открыл автора и как одного из главных летописцев русского «серебряного века» (в том числе и тех событий, которые непосредственно связаны с деятельностью Гумилева). Сохранившиеся экспонаты «музея автографов» Фидлера являются ценнейшими свидетельствами литературной жизни XIX – начала XX столетия. Там, в частности, имеется и акростик Гумилева: Фидлер, мой первый учитель И гроза моих юных дней, Дивно мне! Вы ли хотите Лестных от жертвы речей? Если теперь я поэт, что мне в том, Разве он мне не знаком, Ужас пред вашим судом?!

я, наконец, осмелился сказать ей: «Я вас люблю!», она ответила: «Дурак!» – и показала мне язык». Других сведений о первом кавказском путешествии Гумилева история не сохранила.

К началу занятий в гимназии Гумилевы вернулись в Петербург на новую квартиру – в дворах проходного квартала с Невского проспекта на Гончарную улицу. Гумилев-второклассник вполне освоился с ролью вечного троечника. Между тем он был уже абони-рован у букиниста и постоянно пополнял домашнюю библиотеку новыми книгами. Стартовал он, разумеется, с приключений, зачитывался Жюлем Верном, Фенимором Купером, Густавом Эмаром, но к концу учебного года, следуя тогдашней моде, переключился на сочинения Александра Пушкина. Во всей стране по инициативе великого князя Константина Константиновича (президента Академии Наук и популярного лирического поэта «К. Р.») разворачивалась подготовка к празднованию грядущего столетнего юбилея поэта. В кинематографах демонстрировалась «фильма» о дуэли Пушкина, ставились «живые картины» на пушкинские сюжеты. Рестораны предлагали жаркое *à la Пушкин* и салат «Евгений Онегин». В продаже появились конфеты «Пушкин», табак «Пушкин», спички «Пушкин» и даже мыло «Пушкин» с духами «*Bouquet Pouchkine*». Живописцы писали «пушкинские» картины, композиторы – «пушкинские» песни, марши и вальсы. Свою лепту во всенародное торжество внес и тринадцатилетний Гумилев: среди одноклассников он организовал «пушкинский кружок», для вступления в который нужно было выучить наизусть какое-нибудь стихотворение классика. Начинание имело внезапный успех, и Гумилев, совсем свыкшийся с одиночеством, вдруг оказался окружен компанией приятелей-гимназистов. Тут был и будущий писатель-беллетрист Лев Леман, был потомок мелкопоместных польских дворян Леонид Чернецкий, докторский сын Дмитрий Френкель, сын польского нотариуса Владимир Ласточкин и Федор Стевен, чей отец работал в придворной канцелярии. Новые друзья приезжали с родителями летом 1898 года в Поповку – к радостному изумлению Степана Яковлевича и Анны Ивановны, уже свыкшихся с горестной мыслью, что их младшему сыну уготована в гимназии судьба анахорета. А Гумилев получил первый опыт литературной общности. Под влиянием Пушкина он вновь начинает сочинять и записывать стихи. К концу года их набралась целая тетрадь, до нас не дошедшая. Является ли эта утрата несчастьем или благом – судить сложно. Известно только, что там была большая поэма «*о превращениях Будды*», навеянная чтением приключенческих книг об Индии.

За 1898/99 учебный год незаметный троечник преобразуется в гимназическую достопримечательность. Гумилев и его новые друзья затевают рукописный журнал, в котором из номера в номер публикуются очерки о захватывающих полярных приключениях в духе «Капитана Гаттераса» Жюля Верна. Для пущей достоверности изложения Гумилев привлек в соавторы ледовой саги своего отца – все подробности морского дела, к удивлению читателей, излагались в рукописном журнале с тонким знанием деталей. Между угрюмым, вечно раздраженным Степаном Яковлевичем и младшим сыном выросла суровая мужская дружба. Новоявленный писатель-маринист стал частым гостем в отцовском кабинете, приносил на суд родителю некие географические «рефераты» и даже сопровождал его в театр и в Благородное собрание. Степан Яковлевич открыл сыну неограниченный кредит для книжных закупок. В домашнем обиходе третьеклассника в изобилии появляются тома из «Антологии русских переводов», которую издавал Н. В. Гербель: «*Неистовый Роланд*» Людовика Ариосто, «*Потерянный и возвращенный рай*» Джона Мильтона, «*Поэма о старом моряке*» Самюэля Колриджа. Уму непостижимо, как при таком насыщенном культурном досуге Гумилев умудрялся не обнаруживать признаков неординарной эрудиции перед учителями. Но факт остается фактом – выше удовлетворительной отметки на уроках он поднимался редко. Более того, как раз в это время гимназические достижения, и без того невеликие, быстро умаляются, приближаясь даже не к нулевым, а к отрицательным величинам. С начала четвертого класса у Гумилева пошли чередом крайне неприятные конфликты с наставни-

ками и гимназическими надзирателями. Вызывались родители, нарушитель порядка получал очередной нагоняй, но прогулы и невыполнение учебных заданий не прекращались. Вялый чудак вдруг стал неуправляемым проказником и грубияном. В немалой степени метаморфозе способствовало восторженное чтение романа Оскара Уайльда «*Портрет Дориана Грея*» (из той же «Антологии переводов»), после чего меланхоличный поклонник Пушкина решил взять на вооружение рекомендации демонического лорда Генри.

– Я стал придавать огромное значение внешности и считал себя очень некрасивым, – вспоминал Гумилев. – И мучился этим. Я действительно, должно быть, был тогда некрасив – слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились – ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, ужасный цвет кожи, прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запираю дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что могу силой воли переделать свою внешность. Мне казалось, что с каждым днем становлюсь немного красивее. Я удивлялся, что другие не замечают, не видят, как я хорошею. А они действительно не замечали.

У Гумилева начинался «трудный возраст», и среди гимназистов младших классов тринадцатилетний подросток чувствовал себя явной «белой вороной» (вот когда сказалось опоздание с поступлением в школу!). Первое полугодие четвертого класса Гумилев завершает с двойками по греческому, латинскому, французскому и немецкому языкам. А в следующем полугодии отчаявшийся Степан Яковлевич обратился в гимназию с просьбой освободить сына «*по малоуспешности*» во французском языке «*совсем от уроков оного*». Неизвестно, чем бы все это кончилось, но весной 1900 года семья пережила куда более серьезное потрясение: у Дмитрия Гумилева был обнаружен развивающийся процесс в легких. Степан Яковлевич, уже переживший в молодости одну чахоточную смерть, на этот раз среагировал моментально. Дети с матерью тут же были отправлены из коварной сырости весеннего Петербурга на кумыс, в местечко Подстепановка близ Самары, а отец семейства убыл в Тифлис, принимать дела в закавказском отделении «Северного страхового общества» и искать новое жилье. Дача в Поповке и обстановка петербургской квартиры выставлялись на продажу, сама квартира срочно пересдавалась. Отъезд был настолько поспешным, что завершение второго полугодия в гимназии Гуревича прошло уже без братьев Гумилевых. Для младшего из братьев, впрочем, это было несущественно: все равно он по неуспеваемости оставался в четвертом классе на второй год.

11 августа 1900 г. Анна Ивановна с сыновьями покинули Подстепановку и отправились в Тифлис: паромом по Волге – до Астрахани, по Каспийскому морю – до Баку, а далее, поездом, – до грузинской столицы. На Гумилева виды Большого Кавказа произвели огромное впечатление, гораздо большее, чем тремя годами ранее – предгорья Железноводска. Только попав в Тифлис, он, по собственному признанию, «впервые почувствовал себя поэтом». Все предшествующие царскосельские и петербургские литературные опыты не имели для него решающего значения и, думая о своем будущем, Гумилев-подросток, разумеется, «о стихах не помышлял». «Зато с какой невероятной силой обрушились они на меня и завладели мной в четырнадцать лет, – вспоминал Гумилев. – Мы переселились в Тифлис. И там, когда я проезжал впервые по Военно-Грузинской дороге, это и началось. Кавказ просто ошеломил меня. На меня вдруг нахлынули стихи Пушкина и Лермонтова о Кавказе. Я их знал и любил уже прежде. Но только здесь я почувствовал их магию. Я стал бредить ими, и с утра до вечера и с вечера до утра твердил их».

III

Тифлис. Михайловская гимназия. Кираселидзе, Питоевы, Марксы. Головинская гимназия. Братья Леграны. Тифлиссские стихи. Первое лето в Березках: история мистическая. Второе лето в Березках: история политическая. Литературный дебют. Гимназистка Воробьева. Последние месяцы в Грузии.

Степан Яковлевич встретил семейство на Тифлисском вокзале. Квартира была уже снята – в центре города, в доме нефтепромышленника Мирзоева на углу Сергиевской и Сололакской улиц. Район Сололаки к западу от Старого Города, где располагался дом Мирзоева, со второй половины XIX века считался одним из самых престижных и «европейских» в Тифлисе. Тут селились богачи: «нефтяные короли» Манташевы, Арутюнянцы и многие другие, подобные им, хозяева жизни. Тут же, в Сололаки, находился и дом Исая Егоровича Питоева, оставшегося в истории не нефтяным и рыбным магнатом, а создателем городского театра.

Квартира еще ремонтировалась и обставлялась, так что последние летние недели Гумилевым пришлось провести в гостинице. За это время во Вторую Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича Тифлисскую гимназию были поданы документы обоих братьев: Дмитрий был зачислен в шестой, а Николай как второкурсник, не прошедший переэкзаменовку по месту прежней учебы, – в четвертый класс. Михайловская гимназия считалась в городе «новой» и вольнодумной³², но, устраивая сюда сыновей, Степан Яковлевич, по всей вероятности, еще не знал этих тифлиских тонкостей.

О трех месяцах занятий Гумилева во 2-й Тифлиссской гимназии известно только то, что его одноклассниками оказались братья Иван и Давид Кираселидзе, с которыми юный поэт быстро подружился. Дед и бабушка новых друзей Гумилева в середине XIX века вместе с драматургом Эристави и супругами Станиславом и Вассой Маркс возрождали в Грузии традиции профессиональных театральных представлений³³. Дружба с семьей Кираселидзе связала четырнадцатилетнего Гумилева с артистическими кланами Тифлиса – семьями Михаила Станиславовича Маркса и его сестры Ольги Станиславовны Питоевой, жены грузинского мецената.

Тесное общение младшего сына с тифлиссской творческой элитой казалось отцу подозрительным – среди грузинской интеллигенции преобладали бунтарские настроения. Не нравился благонамеренному Степану Яковлевичу и весь «дух» 2-й гимназии. В январе 1901 года он переводит сыновей в Первую гимназию – старейшее учебное заведение Тифлиса (и Грузии), основанное в 1804 году как «Благородное училище для обучения российскому и грузинским языкам». В 1831 году училище получило гимназический статус и переехало в великолепное здание на Головинском проспекте – в самом центре города, напротив Военного собора на Царской площади. В отличие от Михайловской, в Головинской гимназии строго следовали принципам классического образования, которые были заложены в 1871

³² 2-я тифлисская мужская гимназия была образована в 1881 г. на базе тифлиссской прогимназии, существовавшей с 1874 г. «Новой» она называлась в момент прибытия Гумилевых в Тифлис, поскольку год тому назад переселилась в новое здание, построенное на средства М. О. Арамянца на Великокняжеской улице, 32 (современный адрес – улица Д. Узнадзе, 52; в здании помещается Министерство образования и науки Грузии). Учениками гимназии были Павел Флоренский, Владимир Эрн и Александр Ельчанинов, завершившие курс за два года до поступления сюда братьев Гумилевых.

³³ Ими был создан Русский драматический театр, открытый в Тифлисе в 1850 году. Основателем его считается Г. Эристави. С «театром Эристави», помимо названных, связаны имена драматурга З. Антонова, актера Г. Джапаридзе, критика М. Туманишвили и др. деятелей «грузинского Возрождения» XIX века. В 1856 году после ряда резонансных постановок («Тяжба» Эристави, «Хочу быть княгиней» Антонова и др.) театр был закрыт «за неблагонадежностью». Приемником его стал «театр Питоева» (ныне – театр им. Ш. Руставелли).

году обер-прокурором Д. И. Толстым в ходе борьбы с нигилизмом и крамолой в просвещении. Директор 1-й гимназии, этнограф и историк литературы Алексей Владимирович Марков стремился привить вверенным ему гимназистам собранность, дисциплинированность и деловитость, а от наставников требовал неукоснительного исполнения требований учебных программ и административных предписаний. Нельзя сказать, что переход в «строгую» гимназию не пошел на пользу Гумилеву. Уже к концу второго полугодия он подтянулся по всем предметам и вновь оказался в привычной роли благополучного троечника. Однако *свободолюбие* уже не оставляло его. Он воспаляется поэзией Некрасова, стихи которого, по собственному признанию, в детские годы «не знал почти, а что знал, то презирал из-за эстетизма». «Некрасов, – писал Гумилев, – пробудил во мне мысль о возможности активного отношения личности к обществу. Пробудил интерес к революции». Никакого сочувствия у отца и домашних *«интерес к революции»*, разумеется, не вызывал, и четырнадцатилетний Гумилев отводил душу в стихотворчестве, пытаясь подражать гражданскому негодованию некрасовского лирического героя:

Я всю жизнь отдаю для великой борьбы,
Для борьбы против мрака, насилья и тьмы.
Но увы! Окружают меня лишь рабы,
Недоступные светлым идеям умы.

Ни глубокого дыханья, ни власти над выбранным образом, которые пленяли Гумилева в некрасовских стихах, в его собственных гражданских виршах, разумеется, не было. Однако идейная тенденция, перепугавшая Степана Яковлевича, присутствовала налицо. Надо полагать, что возможность развития в младшем сыне подобного умонастроения озаботила отца не меньше, чем возможность развития туберкулезного процесса у сына старшего. Но, передавая мятежного Николая от фрондеров Михайловский гимназии в охранительную тишину Головинской, Степан Яковлевич позабыл про народную мудрость, точно указывающую, в каком именно омуте водятся черти.

В новой гимназии ближайшими друзьями Гумилева становятся братья Георгий и Борис Леграны. Последний, несмотря на юный возраст (он учился вместе с Дмитрием Гумилевым в шестом классе), являлся членом подпольной городской организации Российской социал-демократической рабочей партии. Только что созданная РСДРП еще не поделилась на «большеви́ков» и «меньшеви́ков», а Борис Легран был уже завершенным большевиком-террористом и по складу характера, и по образу мыслей³⁴. Он вел в гимназии осторожную и умелую агитацию, передавал брату Георгию нелегальную марксистскую литературу, которую тот распространял среди одноклассников – Борцова, Крамелошвили, Глубоковского. Эта группа «конspirаторов» и стала ближайшим школьным окружением Гумилева в годы его пребывания в Тифлисе.

Стоило ли Степану Яковлевичу так стараться изолировать сына от наивных и прямодушных романтиков Кираселидзе!³⁵ Впрочем, и с ними, как и с прочими тифлисскими

³⁴ После Октябрьского переворота Борис Васильевич Легран (1884–1936) сделал впечатляющую карьеру. С декабря 1918 г. по апрель 1919 г. он был членом Революционного Военного Совета 10-й армии Южного фронта, а с апреля 1919 по ноябрь 1920 г., в разгар «красного террора», – председателем Революционного Военного Трибунала РСФСР. В 1930-е годы Легран, назначенный на пост директора Государственного Эрмитажа, руководил продажей за границу таких эрмитажных шедевров, как «Святой Георгий» и «Мадонна Альба» Рафаэля, «Венера перед зеркалом» Тициана, «Пир Клеопатры» Тьеполо, полотен Боттичелли, Перуджино, Рембрандта, Рубенса и др. За эти подвиги Б. В. Легран в 1935 г. был назначен заместителем директора Всесоюзной Академии художеств; эта должность и стала последней в его фантастической судьбе.

³⁵ Оба брата Кираселидзе (Кереселидзе) в мировую войну были кадетами российской армии. После отделения Закавказья от РСФСР они примкнули к вооруженным силам грузинских республиканцев и сражались против 11-й армии Серго Орджоникидзе во время грузино-советской войны 1921 г. После поражения Иван был расстрелян в г. Гори, а Давид спасся.

театралами, Гумилев общаться не перестал. Он подружился с сыном директора Тифлисской оперы Жоржем Питоевым (племянником мецената), а к дочери актера Маркса питал безответную привязанность:

Я песни слагаю во славу твою
Затем, что тебя я безумно люблю,
Затем, что меня ты не любишь.
Я вечно страдаю и вечно грущу,
Но, друг мой прекрасный, тебя я прощу
За то, что меня ты погубишь.

Благодаря Марии Михайловне Маркс, которая полвека хранила рукописный сборник стихов, составленный для нее влюбленным поэтом-гимназистом, можно сейчас судить о творчестве «допечатного» Гумилева³⁶. По его полудетским опытам, подражательным, как и у большинства начинающих поэтов, ясно, что в тифлисские годы он зачитывался не только некрасовской гражданской лирикой, но и лирикой *декадентов* – Дмитрия Мережковского и Константина Бальмонта, новаторские интонации которых старался усвоить:

Вечно жить среди мучений, среди тягостных сомнений —
Это сильных идеал...

Бунтарство эстетическое казалось ему неотделимым от бунтарства общественно-революционного. Это первое впечатление сохранится в Гумилеве на всю жизнь.

Вынужденно поменяв место жительства, Степан Яковлевич Гумилев стремился обеспечить для семьи тот же привычный по Царскому Селу и Петербургу уклад жизни. В первой половине 1901 года он приобрел на имя жены небольшое (60 десятин) имение Березки в Затишьевской волости Рязанской губернии – для традиционного дачного семейного отдыха. Имение находилось на реке Рака (приток Оки), в десяти верстах от железнодорожной станции Вышгород. Неподалеку лежало село Коротково, а к самой усадьбе подходила великолепная березовая роща, давшая название всей местности³⁷. В конце мая, после того как оба сына благополучно перевелись в следующие классы, вся семья отправилась на новую дачу. По воспоминаниям родных, Гумилев тогда очень увлекся мистической литературой, «стал глубоко вдумываться в жизнь, его поразили слова в Евангелии: «вы боги»³⁸, и он решил самосовершенствоваться. Живя в Березках, он стал вести себя совершенно непонятно: пропадавал по суткам, потом оказывалось, что он вырыл себе пещеру на берегу реки и проводил там время в посте и раздумье... Разочаровавшись в одном, он тотчас же хватался за другое, занимался астрономией, для чего проводил ночи на крыше, делал какие-то таинственные вычисления и опыты, не посвящая никого в свои занятия». Мать поэта впоследствии считала, что такой была реакция пятнадцатилетнего Гумилева на знакомство с какими-то книгами поэта и философа Владимира Сергеевича Соловьева. Возможно, это были знаменитые «Три разговора», содержащие в виде приложения «Краткую повесть об антихристе»,

В 1937 г. его все же арестовали, однако быстро выпустили. Позже Д. Г. Кираселидзе погиб в автомобильной катастрофе.

³⁶ М. М. Маркс (в замужестве – Синягина, 1889–1967) продолжила театральную династию, хотя и с перерывом на работу в госпитале во время Первой мировой войны. В зрелые годы Мария Синягина была актрисой Московского театра им. Вл. Маяковского. Гумилевский альбом она передала перед кончиной в ИРЛИ (Пушкинской Дом) РАН.

³⁷ Точное местонахождение усадебных построек имения Березки до сих пор достоверно не установлено: за минувшее столетие от строений ничего не сохранилось.

³⁸ «Иисус отвечал им: Не написано ли в законе вашем: «Я сказал: вы боги» (Ин. 10.34).

и Гумилев пытался точно вычислить дату конца света и во всеоружии встретить грядущие испытания:

На крутых песчаных косогорах,
У лесных бездонных очастей³⁹
Вечно норы он копал, и в норах
Подждал неведомых гостей.

В сентябре, вернувшись в Тифлис, Гумилев приступил к занятиям в пятом классе гимназии. В этот учебный год обозначились два предмета, которые вызывали особые затруднения уже не из-за обычного его школьного лентяйства, а в силу невосприимчивости к этим сферам знания – математика и древние языки (по греческому он в итоге получил переэкзаменовку на осень и едва перешел в следующий VI класс). Но, как на грех, школьная учеба теперь окончательно перестала интересовать Гумилева. Да и мистика тоже была отставлена. На осенне-зимний сезон 1901–1902 гг. приходится пик его увлечения социал-демократическими идеями и вдумчивое знакомство с трудами однофамильца дамы сердца – Карла Маркса. Дружба с кружком братьев Легранов в эти месяцы окрепла окончательно:

C'est la lutte finale:
Groupons-nous, et demain
L'Internationale
Sera le genre humain⁴⁰.

Летом 1902 г. Георгий Легран гостил у друга в рязанском имении. Весь июнь братья Гумилевы вместе с ним и с молодым владельцем местной мельницы Сергеем Кураповым гоняли по окрестностям на велосипедах, ходили на охоту и затевали всевозможные дачные игры. Затем Легран уехал, а Курапов... донес рязанскому исправнику Вострухину, что в Березках собираются эмиссары революционного подполья. Он сообщал, что сын хозяев имения Николай Гумилев «принадлежит к тайному противоправительственному обществу, имеющему цель возмущения простого народа против помещиков и зажиточных людей для отнятия от последних земли и имущества в пользу простого народа». Согласно показаниям Курапова, Гумилев рассказывал, что членами «общества» являются уже более 500 человек, «все действия и распоряжения общества ведутся успешно без всякой переписки и что по заполнении общества достаточным числом членов оно откроет более активные действия и произведет открытый бунт черни». Более того, из этой беседы выходило, что Гумилев непосредственно приступил к созданию местной боевой ячейки из работников кураповской мельницы и уже нашел две подходящие кандидатуры. Гумилев, по словам Курапова, производил впечатление умного человека, правда, немного странноватого, так как и его, хозяина мельницы (!), тоже пытался завербовать в свое общество.

15 июля 1902 года Вострухин передал полученные материалы рязанскому губернатору, присовокупив от себя, что старший из братьев Гумилевых, Дмитрий, знает о подпольной деятельности Николая, но «не сочувствует» ему, а хозяин Березок не только не осведомлен о происходящем, но если проведает, то «сживет со света» сына и его сообщников. Что же касается самого подозреваемого Гумилева, то, по мнению Вострухина, он представляет собой «тип юного теоретика, который является самым подходящим орудием в руках поли-

³⁹ *Очасть* – водоем, образующийся в карьерах или естественных выемках почвы.

⁴⁰ «Это будет последний / И решительный бой; / С Интернационалом / Воспрянет род людской!» (Э. Потье. «Интернационал», пер. А. Я. Коца).

тических злоумышленников, тем легкомысленным агентом, при посредстве которого действуют социал-революционеры».

Известно, что за Березками, по распоряжению губернатора, было установлено секретное наблюдение, однако конец детективной истории теряется во мраке. Понятно одно: Степану Яковлевичу каким-то образом удалось совершенно замять политическое дело, уже готовое вот-вот обрушиться на обоих сыновей. Никаких репрессий и даже – никаких административных взысканий в отношении Николая и его невольного соучастника Дмитрия не применялось. Правда, главный виновник всего переполоха был поспешно отправлен на август из Березок в Тифлис – готовиться к переэкзаменовке по греческому.

Ничего определенного нельзя сказать и о дальнейшем участии Гумилева-гимназиста в деятельности «противоправительственного общества». Вероятно, тогда же, в августе 1902 года, он, под впечатлением происшедших семейных потрясений, навсегда дезертировал из подпольного марксистского движения:

Я грешник страшный, я злодей:
Мне Бог бороться силы дал,
Любил я правду и людей,
Но растоптал я идеал...

Я мог бороться, но, как раб,
Позорно струсив, отступил
И, говоря: «Увы, я слаб!» —
Свои стремленья задавил...

По странному стечению обстоятельств, этот стихотворный манифест об общественно-политической капитуляции стал через несколько недель, 8 сентября 1902 года, поэтическим дебютом Гумилева в печати. «Однажды Коля, – гласит семейное предание, – поздно пришел к обеду, отец, увидя его торжествующее лицо, спросил, что с ним? Коля весело подал отцу «Тифлисский листок», где было напечатано его стихотворение – «Я в лес бежал из городов». Коля был горд, что попал в печать. Тогда ему было шестнадцать лет»⁴¹.

К концу 1902 года врачи, наблюдавшие Дмитрия Гумилева, заключили, что он совершенно здоров и никакой угрозы чахотки больше не существует. А здоровье Степана Яковлевича Гумилева в это время, наоборот, пошатнулось настолько, что стала ясна необходимость завершения службы в «Северном страховом обществе» в самое ближайшее время. В совокупности два этих обстоятельства заставили главу семейства задуматься над возвращением на север, в милое его сердцу Царское Село. Это давало возможность выросшим сыновьям продолжить образование в столичных высших учебных заведениях, а ему самому – вновь, уже окончательно, – обрести достойный звания и возраста старческий покой. В январе 1903 года переезд был окончательно решен.

О последних месяцах, проведенных Гумилевым в Грузии, известно лишь из несколько разрозненных биографических эпизодов. По успеваемости его шестой класс в Головинской гимназии ничем не отличался от двух предыдущих. Несколько раз за осенне-зимний сезон 1902–1903 года он посещал домашние танцевальные вечера и влюбился в гимназистку Воро-

⁴¹ Любопытно, что «Тифлисский листок» никогда не публиковал никаких стихов, кроме злободневной городской сатиры. Почему для лирических излияний Гумилева было сделано единственное за всю историю существования этого печатного органа исключение – загадка. Впрочем, следует признать, что именно публикация стихотворения «Я в лес бежал из городов...» принесла «Тифлисскому листку» мировую славу и прочно утвердила имя малозаметной провинциальной газеты начала XX века во всех школьных и вузовских учебниках по русской литературе. Так что в сентябре 1902 года безвестные сотрудники «Листка», давая добро на эту необычную публикацию, приняли стратегически верное решение.

бьеву. Та отвечала взаимностью. Подробностей счастливого романа и даже имени героини мы не знаем, как не знаем, связана ли со встречами с Воробьевой туманная история с высканьем, вынесенным Гумилеву его гимназическим начальством за появление 9 мая 1903 г. в городском театре «без разрешения и в блузе». В Тифлисе он задержался дольше всех из семьи. Степан Яковлевич устраивал дела в Царском Селе, Анна Ивановна и Дмитрий, сдав квартиру на Сергиевской, уехали в Березки, а Гумилев вплоть до конца мая 1903 года домучивал годовые экзамены. Жил он в последние тифлиские недели в семье Борцова, одного из своих гимназических «марксистских конфиденгов», и брал у репетитора уроки математики, которую никак не мог сдать. Наконец, в 20-х числах он дождал и математику, был переведен в предпоследний VII класс, получил в Головинской гимназии отпускной билет для следования в Рязанскую губернию и покинул Тифлис навсегда.

IV

Третье лето в Березках. Тютчев и Гамсун. Переписка с Воробьевой. Злоключения Александры Сверчковой и ее воссоединение с семьей отца. Переезд в Царское Село. Николаевская гимназия и И. Ф. Анненский. Смерть Воробьевой. Ницшеанство. Влюбленный Дмитрий Гумилев. Валерия Тюльпанова. Знакомство с Анной Горенко.

Новое лето в Березках разительно отличалось от бурного летнего сезона прошлого года. Семнадцатилетний Гумилев вел жизнь исключительно созерцательную, одиноко бродил по рязанским проселкам и размышлял:

Сплетались травы
И медленно пели и млели цветы,
Дыханьем отравы
Зеленой, осенней светло залиты.

В новых стихах после «побега» от общественности и политики чувствовалось сильное влияние лирики Тютчева, который одухотворял природу и любовался игрой ее стихийных сил. Сборник тютчевских стихотворений неизменно сопровождал мечтателя в летних прогулках. Это засвидетельствовал В. В. Тютчев, один из потомков Федора Ивановича: «... В дни моей собственной юности я как-то встретил вечно бродившего по полям, лугам и рощам нашего соседа по имени, будущего поэта Николая Гумилева. В руках у него, как всегда, был томик Тютчева. «Коля, чего Вы таскаете эту книгу? Ведь Вы и так знаете ее наизусть?». «Милый друг, – растягивая слова, ответил он, – а если я вдруг забуду и не дай бог искажу его слова, это же будет святотатство».

Помимо Тютчева Гумилев в летний сезон 1903 года штудировал только что вышедший в русском переводе роман норвежского писателя Кнута Гамсуна «Пан». История сумасбродного лейтенанта Томаса Глана, общавшегося со зверями, деревьями и лесными духами, поразила русскую молодежь начала XX века. Гумилев не был исключением. К тому же, как и лейтенант Глан, он переживал в эти деревенские месяцы упоительный любовный роман в мечтаниях и грезах. В Тифлис к Воробьевой летели страстные послания, ответные письма не заставляли себя ждать, и вскоре, в сентябре, влюбленные должны были встретиться вновь – уже в Петербурге, куда Воробьев-отец переносил адвокатскую практику.

В конце августа Анна Ивановна с сыновьями отправились из Березок в Царское Село обживать новый, только что снятый Степаном Яковлевичем дом. Вместе с ними поехала и облаченная в глубокий траур Александра Сверчкова, которая в это лето также жила на рязанской даче со своим потомством – девятилетним Николаем («*Колей-Маленьким*», как его тут же прозвали в семье) и семилетней Марусей. За десять лет, прошедшие со времени замужества, в жизни Александры Степановны случилось много печальных событий. Ее избранник, черноокий поручик Сверчков, оказался редким неудачником. Пограничная карьера у него не задалась, он вышел в отставку, поменял, одно за другим, несколько мест на гражданской службе в Петербурге и Москве, но так ничего и не добился, пока, по выражению Александры Степановны, «смерть не положила конец его непоседливой жизни». Молодая вдова осталась без всяких средств и вернулась за поддержкой в родительский дом. Степан Яковлевич был согласен передать дочери сохраненную от *вертопраха* часть приданого, но только при условии, что *внуки будут при нем*. Умудренная горьким опытом непослушания, притихшая *Шурочка* была согласна. В Царском Селе она собиралась учительствовать и, дей-

ствительно, сразу по приезде получила место в частной школе, недавно открытой Еленой Левицкой, энтузиасткой английской системы совместного обучения детей.

Гумилевы и Сверчковы поселились в доме Полубояринова на перекрестке Оранжевой и Средней улиц, в двух шагах от Екатерининского парка. В городе помнили заслуженного морского врача, отставного статского советника и балтийского ветерана. Старые царскосельские друзья Степана Яковлевича – военный врач Бритнев (так и живущий в бывшем гумилевском особняке на Московской) и «придворный адмирал», заведующий Петергофской военной гаванью Евгений Иванович Аренс⁴² – со своими многочисленными семьями нанесли приветственные визиты. Директор Николаевской гимназии Иннокентий Федорович Анненский оказался самой любезностью. В отсутствие вакансий для экстернов «мальчики Гумилевы» были зачислены интернами... с разрешением жить на дому. Николай попал в VII, а Дмитрий – в выпускной VIII классы.

Для читателей XXI века Иннокентий Анненский предстает прежде всего великим лириком, замыкающим вслед за Фетом и Тютчевым «большую тройку» классической русской философской поэзии:

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...⁴³

Но среди современников Анненский-поэт, автор «Тихих песен» и стихотворных пьес, был известен лишь узкому кругу знатоков-эстетов. Для всех прочих он представлялся маститым ученым-филологом, и вместе с тем – решительным и хитроумным чиновным карьеристом с большими связями в Министерстве народного просвещения. Анненский действительно являл собою редчайший образец органического сочетания творческого, педагогического и административного дарований. Без малейшего видимого усилия, словно шутя, он отбирал в штат и расставлял на места способных людей, вел свою линию в министерстве и излагал в классных залах премудрости латинской грамматики. Величественный на парадных приемах, Анненский никогда не делал замечаний ни подчиненным, ни ученикам, ни от кого не требовал отчетов и в стенах вверенного ему учебного заведения пребывал обыкновенно в некой тихой прострации. Однако дела Николаевской гимназии с момента появления Анненского в директорском кабинете вдруг сами собой уверенно пошли в гору, министерство и двор были неизменно благосклонны к желаниям и просьбам учителей, а неприкаянные гимназисты почему-то успевали по всем предметам. На Николаевскую гимназию и ее директора на рубеже XIX–XX веков современники смотрели во все глаза – кто с изумлением, кто с раздражением, кто с восторгом. Со времен «пушкинского» Царскосельского Лицея при директорстве Егора Энгельгардта ничего подобного в истории отечественного образования не было. И, конечно, особым промыслом судьбы стало то, что Гумилев, мелькнув первый раз в Николаевской гимназии еще семилетним, вновь возвращался сюда.

Но это ясно сейчас. А в сентябре 1903-го и педагоги, и одноклассники весьма сдержанно приветствовали возникшего среди них великовозрастного генеральского сынка, троечника и лентяя. Тот даже в гимназическом мундире смахивал на какого-то венского героя-любовника из оперетт Штрауса, только что без монокля – набриолиненные волосы на прямой пробор, аккуратные усики, накрахмаленные воротнички, белоснежные манжеты. Держался прямо, вышагивал неспешно, смотрел свысока, ни с кем не знался. Сидел себе за

⁴² Военный историк, преподаватель Николаевской морской академии *Е. И. Аренс* (1856–1931) в 1903 году носил чин полковника по Адмиралтейству. Должность заведующего Петергофской военной гаванью и загородными судами предполагала организацию эксплуатации и (частично) охраны царских яхт и была придворной.

⁴³ *И. Ф. Анненский*. «Среди миров» (1909).

учебной партией и молчал, уставившись косыми глазами в какое-то далекое пространство. Важничал.

А Гумилев, вероятно, даже не замечал своей новой гимназии, не видел новых лиц и не слышал речи педагогов. Внезапное несчастье обрушилось на него. Долгожданная Воробьева, едва приехав в сентябре с семьей из Тифлиса в Петербург, слегла в тифозной горячке и в несколько дней сгорела:

Мне снилось: мы умерли оба,
Лежим с успокоенным взглядом,
Два белые, белые гроба
Поставлены рядом.

В печальные осенние дни 1903 года единственным утешением для Гумилева стала книга Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Слепые силы, учил мудрец, чередуют рождение и смерть бесчисленных живых существ в едином стихийном жизненном потоке, повторяя это на земле вечно, бессчетное количество раз. Только слабые духом пытаются уловить здесь добрый или злой смысл – сильные принимают мироздание таким, каким оно существует, и наслаждаются его несправедливой и безжалостной мощью. Не «доброе» или «злое», а одно лишь «красивое» ищут они в мире:

Горе, не знающим света!
Горе, обнявшим печаль!

Руководствуясь указаниями Заратустры, Гумилев пытался подавить в себе «человеческое, слишком человеческое» и героическим напряжением воли переплавить боль от утраты в трагическую красоту творческого порыва. В новых стихах замелькали любимые *ницшеанцами* «высоты», «бездны» и «глубины»:

Я шел один в ночи беззвездной
В горах с уступа на уступ
И увидел над мрачной бездной,
Как мрамор белый, женский труп...

Дмитрий Гумилев, оказавшись в Царском Селе, тоже стал героем любовной истории, однако, в отличие от младшего брата, ничего «сверхчеловеческого» на его долю, к счастью, не выпадало. Предметом его сердечных забот была ученица 6-го класса царскосельской женской Мариинской гимназии Валерия Тюльпанова, с которой Дмитрий, бравший, по настоянию матери, уроки фортепиано, встретился у своей новой учительницы музыки. Тюльпанова была дочкой петербургского чиновника, снимавшего, как водится, жилье в вокзальном квартале Царского Села, в Безымянном переулке. Родители Дмитрия Гумилева поощряли эту привязанность сына. Симпатичная белокурая Тюльпанова была обходительна, добропорядочна, уверенно проходила гимназический курс и считалась в Царском Селе неплохой партией в недалеком будущем. Пожалуй, единственным ее недостатком в глазах той основательной и домовитой части царскоселов, к которой принадлежали и Степан Яковлевич с Анной Ивановной, была тесная дружба Тюльпановой с Анной Горенко, соседкой по дому в Безымянном переулке.

Семья Горенко обосновалась в Царском Селе еще в 1892 г., но с Гумилевыми, разумеется, никогда дружбы не водила. Отец семейства, отставной черноморский капитан 2-го ранга, служил тогда в Государственном контроле, пропал на службе в столице и в царско-

сельском обществе почти не бывал. Супруга его именовалась *Инной Эразмовной* и слыла особой очень странной, совсем под стать своему диковинному имени. Целиком поглощенная домашними заботами, она совершенно не следила за собой, одевалась как придется, не интересовалась ни знакомствами, ни городской жизнью, однако хозяйство, по слухам, вела из рук вон плохо (насмешливые соседки прозвали ее Инной *Несуразмовной*). В семействе Горенко постоянно происходили какие-то драмы, супруги несколько раз пытались разъехаться, отправляли из города малолетних детей к родственникам. Понятно, что добродетельные царскоселы сомнительную чету старались не замечать – казалось, среди здешних обитателей это были люди случайные. Тем не менее, вопреки злым языкам, Горенко в конце концов укоренились в Царском Селе, а отставной кавранг Андрей Антонович к моменту возвращения сюда Гумилевых даже попал в придворный фавор – великий князь Александр Михайлович взял его заместителем в только что созданное Главное управление торгового мореплавания⁴⁴. Впрочем, неприязнь царскоселов к скандальному семейству оставалась неизменной. Шептались, что великокняжеский выдвигенец семью давно забросил и чуть ли не открыто живет в Петербурге с какой-то именитой вдовой, что «*Несуразмовна*» так и осталась «*Несуразмовной*», хоть и при муже на генеральской должности, что одна из их дочерей, подброшенная далекой родне, умерла малолетней, а прочие дети выросли без всякого светского воспитания, совершенными дичками. Некоторую поблажку городская молва делала лишь для старшей Инны Горенко, ходившей в лучших училищах в Мариинской женской гимназии. Зато ее сестра Анна считалась в той же гимназии *enfant terrible*⁴⁵ и была пугалом для всех чадолюбивых родителей Царского Села.

Домашние знали, что все несчастья их Анны начались с таинственной детской болезни, которая в 1900 году несколько месяцев держала ее между жизнью и смертью. Как ни странно, но последствия этой «внутренней оспы» (такой диагноз был поставлен недоумевающими медиками) точь-в-точь повторяли последствия «острого бронхита» Гумилева – и глухота, и неумное желание писать стихотворные «басни». Правда, мучительных мигреней не было – зато возник лунатизм. Каждое полнолуние бледная, сонная девочка, не чувствуя ничего вокруг, устремлялась с постели навстречу сияющему ночному светилу. Многие стали считать ее помешанной. Она, зная о недоброй славе, постоянно дерзила и сверстникам, и старшим. Отец попытался сдать ее в петербургский Смольный институт, славящийся строгостями по отношению к строптивым воспитанницам. Но там после первой ночной прогулки новой пансионерки с распущенными волосами и мертвенным ликом по бесконечным институтским сводчатым коридорам поспешили возвратить Анну Горенко в родительские руки – с сумасшедшими в Смольном старались дела не иметь. После этого царскоселы стали сторониться ее еще больше, хотя лунатизм (как и мигрень у Гумилева) исчез с наступлением отрочества. В Мариинской гимназии ее еле терпели, несмотря на то, что она, повзрослев, подражала манерам благовоспитанной барышни: складывала по форме руки, делала реверансы, учтиво и коротко отвечала по-французски на вопросы дам и говела на Страстной в гимназической церкви. Унаследовав от «*Несуразмовны*» полное бесчувствие к одежде и украшениям, неряшливая, угловатая Анна Горенко, как нарочно, вытянувшись, приобрела к пятнадцати годам царственную осанку – все вместе делало фигуру и смешной, и юродивой. Училась она скверно. Как вышло, что примерная отличница Тюльпанова стала ее закадычной подругой – никто не понимал, а между тем они были неразлучны. Вот и Дмитрий

⁴⁴ Великий князь *Александр Михайлович* (1866–1933) был двоюродным дядей Николая II, его близким другом и доверенным лицом. Произведенный в конце 1902 г. в контр-адмиралы, Александр Михайлович возглавил выделенное тогда же по приказу императора из Министерства финансов морское Управление, задачей которого была реорганизация торгового судоходства и устройства портов.

⁴⁵ Ужасный ребенок (*фр.*).

Гумилев, представляя брату новую симпатичную знакомую, вынужден был представить и Горенко, обретавшуюся рядом хмурой дуэньей.

Был рождественский сочельник, вся компания отправлялась в Гостиный двор за елочной мишурой; затем воспитанные «мальчики Гумилевы» вызвались доставить коробки гимназисткам домой. Дмитрий впереди хохотал, перебрасываясь какими-то шутками с Тюльпановой и ее младшим братом, Николай с большой картонкой под мышкой невозмутимо вышагивал рядом с Горенко. Рождество этого года выдалось для него совсем грустным, и он сразу позабыл любезные проводы, несмотря на то, что вслед за первой звездой, появившейся над Царским Селом, все храмы славили чудеса, таинственно совершавшиеся вокруг:

*Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит.
Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют...*

V

Начало русско-японской войны. Первые месяцы в Николаевской гимназии. Марианна Полякова. На катке с Анной Горенко. Пасхальный бал. Неприступные гимназистки. Проваленная переэкзаменовка. Выпускной бал в Городовой Ратуше. Пятнадцатилетие Анны Горенко. Журнал «Весы» и увлечение символизмом. Литературные собрания у Штейнов, Анненских и Коковцевых. Падение Порт-Артура. Рождественская годовщина.

24 января (6 февраля) 1904 года далекая страна Нихон (Родина Солнца), именуемая на европейском Западе *Японией*, внезапно открыла боевые действия против военных сил Российской Империи, сосредоточенных в дальневосточной Маньчжурии и на Корейском полуострове. «Мы изъявили согласие на предложенный Японским Правительством пересмотр существовавших между обеими Империями соглашений в Корейских делах, – обличал вероломство вышедший тремя днями позже царский манифест. – Возбужденные по сему предмету переговоры не были, однако, приведены к окончанию, и Япония, не выждав даже получения последних ответных предложений Правительства Нашего, известила о прекращении переговоров и разрыве дипломатических сношений с Россией. Не предупредив о том, что перерыв таковых сношений знаменует собою открытие военных действий, Японское Правительство отдало приказ своим миноносцам внезапно атаковать Нашу эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артура. По получении о сем донесения Наместника Нашего на Дальнем Востоке, Мы тотчас же повелели вооруженною силою ответить на вызов Японии».

Несмотря на то что и об Японии, и об упомянутых в манифесте «корейских делах»⁴⁶ подавляющее большинство россиян имели представление самое смутное, всех возмутило коварное и предательское нападение из-за угла, в нарушение всех правил войны. Газеты и журналы принялись наперебой объяснять, что диким желтолицым карликам цивилизация неведома, что воюют они голыми, в древних лакированных шлемах, вроде воронки, иногда – с пустым ружейным чехлом за плечами, но обязательно с тесаком в руках, ибо главной военной добычей считают человеческие уши. Писали также, что варвары молятся восьми миллионам морских, небесных и сухопутных демонов, главным же божеством почитают хитрую и изворотливую лисицу, поскольку, в противовес русским, живущим по Правде, служат Кривде. Более осведомленные издания осторожно намекали на известный технический и военный прогресс, достигнутый Империей Восходящего Солнца в последние десятилетия, подчеркивая, впрочем, что народ на загадочных островах подобрался в целом умственно и физически слабый, похожий на лесных мартышек – без личной инициативы, хотя и с большой способностью к подражанию. «Все эти реформы, – заключали военные эксперты, – легли на японскую армию лишь сверху, и при первой боевой встряске все наносное и привитое должно слететь с армии, и тогда выступят коренные свойства народа».

В храмах по всей стране шли молебны о даровании победы над новым врагом, с амвонов звучали проповеди о «желтой опасности» Западу, о столкновении христианства и язычества:

⁴⁶ Имеется в виду экономическое и военное присутствие России в Приморье после завершения в 1895 году японо-китайской войны за Корею и создания коалиции России, Германии и Франции для окончательного урегулирования этого конфликта. Россия, посредничая между враждующими сторонами, получила в аренду земли в Маньчжурии и контроль над Ляодунским полуостровом с незамерзающим портом Ляюшунь, превратившимся в русскую морскую базу-крепость Порт-Артур. Япония, считавшая Корею зоной собственных геополитических интересов, активно противодействовала движению Российской Империи на Юго-Восток. Непосредственным поводом к войне (которая для Японии, заручившейся поддержкой Великобритании и США, была делом уже решенным) стали переговоры о русских лесных концессиях в Корее.

– Как и Русь во времена монголо-татар, Россия вновь вынуждена теперь вести в одиночку борьбу не только за себя, но и за всю Европу!

Подданные великой Российской Империи, не знавшей поражений уже полстолетия, оживились, предвкушая грядущие военные триумфы. В театрах невозможно было начать спектакли – зрители вновь и вновь требовали исполнения гимна:

– Боже, Царя храни!..

В Петербург сплошным потоком шли верноподданные адреса, бодро собирались пожертвования на нужды армии и флота, объявленная мобилизация вызвала большой энтузиазм у молодежи – на «ура» шла запись добровольцев в народные дружины. Оба брата Гумилевы, разумеется, немедленно изъявили желание сразиться на дальневосточных рубежах с коварными врагами Отечества, но Степан Яковлевич решительно воспротивился их порыву. Исход далекой войны казался старому, выдавшему виды моряку предрешенным и без помощи царкосельских гимназистов. Сам командующий Маньчжурской армией генерал Куропаткин, боевой товарищ и ученик незабвенного покорителя азиатов Михаила Дмитриевича Скобелева, заверял возбужденных соотечественников:

– Можете спать спокойно. Ныне можно не тревожиться, если даже бóльшая часть японской армии обрушится на Порт-Артур. Мы имеем силы и средства отстоять Порт-Артур, борясь один против 5–10 врагов!

И, действительно, уже первые известия о событиях в Корее явили свидетельство несокрушимого боевого духа русских воинов на Дальнем Востоке. Быстроходный крейсер «Варяг», находившийся стационаром при посольстве в Сеуле, принял в одиночку бой с целой японской эскадрой, так и не посмевшей войти в гавань Чемульпо до того, как героическая команда крейсера сама не затопила израненный корабль. Правда, Порт-Артур все-таки оказался в осаде – через неделю с малым после начала конфликта. Но такая невероятная оперативность «желтолицых чертей» была не иначе как результатом коварной внезапности их морского нападения. Со дня на день ожидали начала больших сражений в Маньчжурии, которые, без сомнения, быстро расставят все по местам:

А это – тебе, Японец, игрушка —
Наша Российская пушка!..
Ну, скорей что ль начинай,
К нам на сушу вылезай!⁴⁷

Уже в марте возбуждение, охватившее россиян, постепенно улеглось – до первых газетных викторий. Патриотические манифестации на несколько недель отвлекли Гумилева от мрачного нищестанства, а когда он попытался вновь сосредоточиться на горестных размышлениях, оказалось, что воспоминания о покойной Воробьевой уже отлетели далеко. Вместе с другими николаевскими гимназистами он теперь караулил у подъезда Мариинской гимназии, когда на улицу гурьбой выбегут розовощекие хохотушки:

– Пойдемте в парк, погуляем, поболтаем...

Настойчивость Гумилева была немедленно удовлетворена благосклонностью Марианны Поляковой (младшей сестры входившей в моду мариинской танцовщицы⁴⁸). Это был успех, затмивший Дмитрия с его Тюльпановой, оказавшейся, несмотря на природную живость, чопорной до неприступности. Их зимние встречи происходили исключительно на царкосельском катке, куда Тюльпанова, соблюдая приличия, являлась со своей молчали-

⁴⁷ Д. Гусев. «Посидим у моря, подождем погоды» (военный плакат 1904 года).

⁴⁸ Сестрой царкосельской гимназистки М. Д. Поляковой, адресата ранней поэзии Гумилева, была балерина Елена Дмитриевна Полякова (1884–1972), артистка императорского Мариинского театра. Во время «русских сезонов» С. П. Дягилева Полякова станет одной из ведущих солисток его труппы.

вой подругой. Дмитрий не унывал, призывал на помощь младшего брата, и тот, становясь в пару с Горенко, увлекал ее на другой конец ледового ринга, оставляя влюбленных наедине. Говорил он при этом что в голову взбредет, до Заратустры и Соловьева включительно, – Горенко, сосредоточенно кружась рядом, все равно была нема и непроницаема, нельзя было понять, слышит ли она его вообще. Дмитрий, впрочем, на этих ледовых встречах тоже не преуспел и, возвращаясь со скейтинга, постоянно хмурился и разочарованно пожимал плечами. Но он все бодрился, рассчитывая на весенний пасхальный бал, который давали в этом году для вновь обретенных царскосельских друзей Гумилевы. Тут были Аренсы и Бритневы, несколько гимназистов Николаевской гимназии, были соседские семьи, была учительница музыки Баженова, немедленно засевшая за рояль, была вместе с ней и Тюльпанова, а с той – Анна Горенко, подобная неизбежной и неотвязной тени. Скучающий Гумилев, не любивший музыку («Большой шум!») и танцевавший плохо, заговорил с ней, помня зимние катания, о недавно появившемся литературном журнале «Весы», чрезвычайно его заинтересовавшем. Вдруг немая пробудилась и стала отвечать, да так ловко и живо, что он заслушался (все-таки на катке она, оказывается, что-то поняла из его разглагольствований), а, посмотрев внимательнее, остолбенел. Ангел, сошедший с края небосклона, сияя бездонными бледно-голубыми глазами, говорил с ним, сам-друг, испуганный и взволнованный, открывая в предвечном ужасе азбучные откровения первых дней нового мира! Исчезли и музыка, и гул, и топот танцующих, тих был мировой ад и замер вверху рай – лишь один небесный ангел волновался, жестикулировал, шевелил губами, читая, кажется, какие-то стихи, потянул его в переднюю и хрястнул, уходя, дверью перед носом:

– Вот так!

Гумилев осторожно потрогал дверную ручку, отворил. Там не было никого, только вечерние небеса, как и положено в пасхальные дни, были полны высокими и радостными звездами:

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Так завершилось для него Светлое Воскресенье 28 марта 1904 года.

Лишь только праздники подошли к концу, Гумилев был на стратегическом пяточке у подъезда Мариинской гимназии. В половине третьего, после залиистой трели последнего звонка, Тюльпанова со своей долговязой подругой появлялась в дверях. Он радостно кидался наперерез; гимназистки переглядывались и... начинали по очереди декламировать немецкую балладу Людвиг Уланда «Sängers Fluch»:

Es stand in alten Zeiten ein Schloß, so hoch und hehr,
Weit glänzt' es über die Lande bis an das blaue Meer...⁴⁹

«И этого риторически цветистого стихотворения, которое мы запомнили на всю жизнь, нам хватало на всю дорогу, – вспоминала Тюльпанова. – А бедный Коля терпеливо, стойчески слушал его всю дорогу и все-таки доходил с нами до самого дома! Ну, не гадкие ли это, зловердные маленькие женщины! Мне и сейчас и смешно, и грустно вспоминать об этом». Выслушав несколько раз «Sängers Fluch», Гумилев смиренно отстал от неприступной парочки. Лик небесного ангела продолжал сиять перед его мысленным взором, и, чтобы разобраться в хитросплетении судеб, он сам написал балладу в духе романтика Уланда, где были и скорбная тень Воробьевой, и новая, непонятная и странная Анна Горенко:

Мой замок стоит на утесе крутом

⁴⁹ «Однажды гордый замок стоял в чужом краю. // От моря и до моря простер он власть свою...» (Л. Уланд [1787–1862]. «Проклятье певца» [«Sängers Fluch»], пер. В. В. Левика).

В далеких, туманных горах,
Его я воздвигнул во мраке ночном,
С проклятьем на бледных устах.

«*Песня о певце и короле*» имела успех у одноклассников, успевших уже притерпеться к эксцентричному николаевскому гимназисту, так рьяно поддерживающему лихие традиции невероятного учебного заведения. Гумилев весной стал востребован: теперь его звали почитать стихи в разные компании, сложившиеся среди здешних учеников. Он не отказывался, декламировал; многие просили переписать. По слухам, сам директор Анненский, насмешливо морщась, познакомился с романтическими излияниями усатого семиклассника:

Был праздник веселый и шумный,
Они повстречались раз...
Она была в неге безумной
С манящим мерцанием глаз.

Но утвердившаяся в гимназии репутация «стихотворца» не спасла Гумилева от весенней переэкзаменовки по математике. Известие об этом он встретил сентенцией, достойной римских стойков:

– *Прийти на экзамен, подготовившись к нему, – это все равно что играть с краплеными картами!*

В итоге, в седьмом классе он остался на второй год. Брат его, Дмитрий, не был столь глубокомыслен и благополучно завершил гимназический курс. Накануне получения аттестата зрелости полагался выпускной бал. По случаю войны (из патриотических соображений, чтобы не тратить «бешеные деньги, когда оставшиеся без поддержки семьи убитых стирают руки с мольбой к своим братьям за помощью») Николаевская гимназия объединилась совместно со всеми выпускными классами царскосельских училищ в здании Городовой Ратуши. На бал допускались и несовершеннолетние члены семейств выпускников. Вместе с праздничным Дмитрием Гумилев столкнулся в танцевальной зале с Анной Горенко, сопровождавшей сестру Инну, завершившую Мариинский курс с серебряной медалью. Как всегда в дни больших праздников, царскосельская Городовая Ратуша заполнилась сверх меры, и в плотной толпе гимназисты-выпускники и их юные гости причудливо перемешались в вихре вальса с мокрыми правоведами и чиновниками. Передавали шарики мороженого на запотевших блюдечках, в липкой и сладкой тесноте, наполненной запахами пыли и пудры, раздавалось отчаянное «гран-рон, силь ву плэ!»⁵⁰. Несмотря на хаотичную пестроту этого странного *всеобщего* выпускного бала, одна постоянная пара сразу бросалась в глаза – Николай Гумилев кружился с Анной Горенко так легко, словно вокруг них чудесным образом повсюду возникало свободное пространство. Возвращаясь, они вновь отстали от всех, занятые спором всю дорогу до глухих дощатых заборов Безымянного переулочка, и, оставшись, наконец, один, счастливый Гумилев уже точно знал, каким невероятным букетом он удивит тут через несколько дней пятнадцатилетнюю именинницу.

И букет удался на славу! Оказавшись в низкой гостиной дома Шухардиной, Гумилев подумал, что, возможно, он даже перестарался: шедевр цветочного искусства, благоухая и переливаясь красками, решительно затмевал собой прочие детали скромного домашнего пиршества. Гимназические гости именинницы совсем стусевались, а «Несуразмовна» (действительно странная вблизи со своими душегрейками и тесемочками) благодушно изрекла, прерывая повисшую паузу:

⁵⁰ «Большой шарик, пожалуйста!» (*фр.*: «Grande ronde, s'il vous plait»).

– Ну, вот и последний гость, и уже седьмой букет у нас на столе. Ставьте-ка его сюда, в дополненье к остальным!

За столом хихикнули. Букет тут же угас. Озадаченный Гумилев что-то отвечал невпопад, потом задумался и, едва помедлив, потихоньку покинул собрание. Вновь он возник уже к шапочному разбору, почему-то запыленный, перемазанный землей – и с охапкой свежих лилий. Все вновь застыли, только Инна Эразмовна смогла сохранить раз уже взятый тон:

– Как это мило с Вашей стороны, Николай Степанович, осчастливить нас и восьмым букетом!

– Простите, но это не *восьмой* букет, – веско возразил Гумилев, – это – *цветы императрицы*.

И положил влажные стебли перед именинницей. Чудак забрался в императорский Собственный сад и обобрал оранжерею...

Именинница скромно потупилась.

В это лето и в Царском Селе, и в Березках Гумилев был весь поглощен чтением. Журнал «Весы», который начал издавать в Москве скандальный поэт и литературный критик Валерий Брюсов, увлек его неодолимо. Это было на редкость насыщенное просветительское издание, положившее главной целью подробно и обстоятельно ознакомить подписчиков с европейскими художественными новинками, которые демонстрировали достижения «символизма» – художественной школы последнего десятилетия. Для восемнадцатилетнего Гумилева, как и для большинства россиян, «символизм» так и продолжал оставаться загадкой, возникая в разговорах лишь применительно к очередной выходке петербургских и московских писателей-декадентов, время от времени пугавших публику прославлением «бледных ног», «фиолетовых рук» и публичной демонстрацией мании величия:

... Люблю я себя, как Бога,—
Любовь мне душу спасет!⁵¹

«Декадентом» теперь считал себя и сам Гумилев, начитавшийся Оскара Уайльда, Владимира Соловьева, Кнута Гамсуна и Ницше. Однако все оказалось куда интереснее и сложнее, и он вот уже несколько месяцев упивался новыми идеями и именами Верлена, Малларме, Рембó, Обри Бердслея, Габриэля Росетти, Эмиля Верхарна. Вернувшись осенью в Царское Село, Гумилев делился своими открытиями с Анной Горенко.

Возникновение символизма было связано с многочисленными европейскими научными открытиями, доказывающими наличие неизвестных, «тонких» сфер существования материи. Впервые о символизме заговорил в год рождения Гумилева французский писатель Морéас. В статье 1886 года, так и названной «*Le Symbolisme*», Мореас говорил о перенесении внимания писателя с внешних форм жизни на ее внутренние процессы и, соответственно, – о необходимости «нового языка». Вместо «слова-понятия» писатели, по мнению Мореаса, должны искать «слово-символ», позволяющее обозначить всю сложность изменчивого до непостижимости мироздания. «Отсюда, – заключал Мореас, – непривычные словообразования, периоды то неуклюже-тяжеловесные, то пленительно-гибкие, многозначительные повторы, таинственные умолчания, неожиданная недоговоренность...». Именно так пытался говорить с читателями великий несчастливец, *maudit*, французской поэзии Поль Верлен, требовавший от себя и от других – *музыки* прежде всего:

Et tout le reste est littérature⁵².

⁵¹ З. Н. Гунтуус. «Посвящение» (1894).

⁵² Все прочее – литература! (*фр.*, перевод В. Я. Брюсова).

А порочный друг и главный враг Верлена, гениальный юноша Артюр Рембо, – тот вообще полагал, что звуками слов нужно живописать, приближая свои стихотворения к цветным холстам прославленных парижских художников-импрессионистов:

А – черный; белый – Е; И – красный; У – зеленый.
О – синий: тайну их скажу я в свой черед⁵³.

Анна Горенко оказалась на редкость интересной собеседницей – собственно говоря, единственной, кому Гумилев мог, не чувствуя неловкости, часами рассказывать о восхитительных статьях и рецензиях Брюсова и каких-то, неизвестных никому Юргиса Балтрушайтиса, Андрея Белого, Вячеслава Иванова и Максимилиана Волошина, нашедших прочное пристанище на страницах московского литературного журнала. Незаметно сложилось, что они вдвоем каждый день после занятий кружили по старому Екатерининскому парку среди мраморных скульптур и призрачных павильонов, воспетых Державиным и Пушкиным. По Царскому, натурально, пошли изумленные толки, Марианна Полякова была горько возмущена, но Гумилев даже не заметил неминуемого расставания – что могла понимать в страданиях безумного Шарля Бодлера эта резвая мариинская хохотушка:

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'equipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers⁵⁴.

Серьезно и молчаливо, в нелепом, подобно одеяниям «Несуразмовны», детском потертом пальто горбоносая Горенко, сосредоточенно вслушиваясь, шагала рядом, деловито шурша божественным золотом вековых екатерининских кленов. Ничего в ней не было от давешнего померещившегося ангела, но Гумилева постоянно одолевала теплая, странная нежность, и почему-то приходил на ум бодлеровский финал:

Поэт, как альбатрос, отважно, без усилия,
Пока он – в небесах, витает в бурной мгле;
Но исполинские, невидимые крылья
В толпе ему ходить мешают по земле.

Особую увлекательную пряность их ежедневным осенним литературным беседам придавал только что прочитанный новый роман модного англичанина *Киплинга* (Kipling'a) «Свет погас». Играя между собой, оба воображали себя его героями: Гумилев – суровым колониальным воином и художником Диком Хелдаром, влюбленным в Африку и считавшим, что для достижения совершенства необходимо изучение строгих законов живописи, Анна Горенко – гениальной анархической разрушительницей Мэйзи, видевшей лирическое выражение чувств главной задачей творческой личности. Конечно, это была только игра: стихи, которые Горенко читала Гумилеву, были обычной неумелой женской рифмованной чепухой. Возмущал Гумилева и ее круг знакомств. У ее сестры Инны, только что вышедшей замуж за студента-филолога Сергея фон Штейна, собиралась по четвергам компания столичных

⁵³ А. Рембо. «Цветной сонет» (пер. А. А. Кублицкой-Пиоттух).

⁵⁴ «Во время плаванья, когда толпе матросов / Случается поймать над бездною морей / Огромных белых птиц, могучих альбатросов, / Беспечных спутников отважных кораблей...» (Ш. Бодлер. «Альбатрос», перевод Д. С. Мережковского).

университетских повес и острословов. Та же студенческая компания собиралась по понедельникам у сестры фон Штейна Натальи, супруги богемного Валентина Анненского, придумавшего себе нелепое прозвище *Кривич*. Сын директора Николаевской гимназии жил с молодой женой в казенной отцовской квартире, но был независим от строгой гимназической жизни. Его друзья-студенты регулярно посещали университетский «Кружок изящной словесности» и находились в курсе всех событий литературного и театрального Петербурга. Приставший к ним ненадолго Гумилев был вместе с Горенко и Штейнами на нашумевшем выступлении американской танцовщицы-«босоножки» Айседоры Дункан в петербургском Дворянском Собрании, а на благотворительном студенческом вечере в зале царскосельского Офицерского собрания даже сидел в литерной ложе среди почетных гостей. Но ничего хорошего для мечтательной дурнушки Анны Гумилев тут не видел и удивлялся в душе беспечностью ее старшей сестры, как нарочно оставлявшей долговязую недотепу в самые рискованные моменты студенческих вечеринок наедине со своими разудалыми гостями.

У Гумилева в эти месяцы складывается совсем другой круг знакомств. Родители его нового одноклассника Дмитрия Коковцева весь 1904 год устраивали у себя в доме на Магазейной улице «Литературные воскресенья». Неизвестно, успел ли Гумилев застать на них самого знаменитого участника – великого поэта, философа и придворного историографа Константина Константиновича Случевского (тот, совсем одряхлев к шестидесяти семи годам, скончался в сентябре). Но в число постоянных посетителей Коковцевых в осенне-зимний сезон 1904–1905 гг. входили писательницы-монархистки Мария Григорьевна Веселкова-Кильштет и Лидия Микулич (Л. И. Веселитская), популярный политический обозреватель Михаил Осипович Меньшиков и известный всей России яростный гонитель вольнодумцев, фельетонист газеты «Новое время» Виктор Петрович Буренин. Среди этих пожилых консерваторов и «реакционеров» юный Гумилев чувствовал себя куда более уверенно, чем в либеральной студенческой вольнице. Тут с неподдельной тревогой и недоумением говорили о грозном обороте, который приняла едва заметная теперь по однообразным сводкам в периодике «японская война», о невообразимой благодарственной телеграмме Государя за «выдающееся по трудности отступление», отправленной командующему Куропаткину после Ляоданской битвы в Маньчжурии, о страшной опасности, вдруг нависшей над самоуверенной Российской Империей. Затаившись в углу на креслах, незаметный Гумилев слушал, как толстая, некрасивая, искренняя генеральша Кильштет срывающимся голосом читает свой реквием русским офицерам и солдатам, оказавшимся, паче всех чаяний, живым щитом перед железными морскими и сухопутными желтыми когортами:

С тьмой над пучиною
 Борется рассвет,
 В песню лебединую
 Вылился привет.
 Песнь под грозной тучею
 Чем была полна?
 Верю ль могучею,
 Скорбью сложена?
 Иль молила, нежная,
 Чтоб к земле родной
 Даль несла безбрежная
 Весть про смертный бой?⁵⁵

⁵⁵ М. Г. Веселкова-Кильштет. «Памяти лейтенанта С. <Случевского>» (1904).

21 декабря 1904 года император Николай II, испугавший накануне своей ледяной флегмой придворных, записал в своем дневнике: «Получил ночью потрясающее известие от <генерала> Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов! Тяжело и больно, хотя оно и предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники все герои и сделали более того, что можно было предполагать. На то, значит, воля Божья!» А спустя два дня его юный царскосельский тезка назло всем слухам и сетованиям накопил в подарок годовщины встречи в Гостином дворе всякой всячины для своей странной до неприличности конфидентки.

– Я купил у Александра на Невском, – мечтательно вспоминал он, – большую коробку, обтянутую материей в цветы, и наполнил ее доверху, положил в нее шесть пар шелковых чулок, флакон духов «Коти», два фунта шоколада Крафта, черепаховый гребень с шишками – я знал, что она о нем давно мечтает, – и томик Тристана Корбьера «Желтая любовь». Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости. Ведь у нее в семье ее не особенно-то баловали.

В коробку был положен и листок с аккуратной записью нового стихотворения «Русалка»:

На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны,
Это странно-печальные сны
Мирового, больного похмелья.
На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны.
.....
Я люблю ее, деву-ундину,
Озаренную тайной ночной,
Я люблю ее взгляд заревой
И горящие негой рубины...
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской.

Как сокрушенно признавалась сама получательница гумилевского дара, *«с этого стихотворения все и началось»*.

VI

Мукденская битва и «Кровавое воскресенье» в Петрограде. Объяснение с Анной Горенко. Ветераны «японской войны». В. В. Голенищев-Кутузов. Семейство Вульффиусов. Дуэль с Куртом Вульффиусом. Крушение любви. Цусима. Мятежные месяцы и Портсмутский мир. Покровительство И. Ф. Анненского. Знакомство с французской поэзией. «Путь конквистадоров». Беспорядки в Николаевской гимназии. Манифест 17 октября 1905 г. Уход И. Ф. Анненского с директорского поста.

25 февраля 1905 года у китайского города Мукден (Шеньян) после двадцатидневного ожесточенного боя были окончательно разгромлены боевые порядки основных сухопутных сил русской армии в Маньчжурии. Но это известие об очередном поражении на Дальнем Востоке почти затерялось среди ошеломляющих новостей из российской столицы, уже несколько недель занимавших всю Россию. Во второе январское воскресенье, вдогонку Крещенским торжествам, в Петербурге случилась невероятная, невообразимая здравым рассудком бойня: войска городского гарнизона почему-то расстреляли... православный крестный ход рабочих, идущий с иконами и хоругвями со всех застав во сретенье царю Николаю II. Передавали, правда, что это был не совсем крестный ход – скорее пролетарская массовка, поднятая попом-расстригой Георгием Гапоном, известным своими связями с подпольными агитаторами-социалистами. Говорили и страшнее: японские агенты, неумолимые в своей решимости сокрушить враждебную Россию, потратили невообразимые миллионы, чтобы воскресить давно позабытые террористические революционные банды нигилистов. Но эти голоса почти не были слышны в общем страдальческом вопле – русские пули, дробя православные святые лики, проливали кровь единоверцев на мостовую Нарвской заставы, Выборгской стороны и даже Дворцовой площади!

Чудовищнее беды представить себе было нельзя.

– Нет больше Бога! Нет больше Царя! – кричал, по слухам, плачущий Гапон среди разбегающихся во время кровавой бани путиловских мастеровых. И эхом на эти вопли по всей России раздавалось:

– Царь Николай... *Кровавый!*

У студента Селиверстова, репетитора детей Горенко, тряслись руки, когда он рассказывал о «*Девятом января*» (роковая дата в разговорном обиходе тут же стала нарицательной) в Петербурге. Гумилевы пережили случившееся с мрачным недоумением и тревогой. Уже несколько последних месяцев и на газетных полосах, и в гостиных сначала потихоньку, сдержанно, потом громко, с надрывом звучали речи о сплошных фатальных неудачах русских в Приморье и о фанатичной храбрости, «немецкой» муштровке и невероятной выносливости «желтолицых сынов Микадо»:

– Если японцы идут на верную смерть потому, что 40 лет учились жертвовать собой во имя народной идеи, то русские – только потому, что они русские!!

«Презрение к противнику – плохое и глупое оружие», – пророчески предупреждал россиян уже в первых корреспонденциях с дальневосточного фронта ветеран отечественной военной журналистики Василий Немирович-Данченко. Зимой 1904–1905 гг. в обществе царило панихидное настроение, столичные газеты панически сетовали, что вовремя «не увидели перед собой грозно разинутой пасти дракона». Обстановка внутри страны накалялась. Дело дошло до того, что, услышав о падении Порт-Артура, петербургские студенты, демонстрируя общественный протест, отослали издевательскую поздравительную телеграмму... японскому императору. И вот теперь, после расстрела рабочих и проигранной битвы под Мукденом, все катилось к настоящей внутренней смуте, к мятежу, если, помилуй бог, не

к революции... Правда, оставалась еще надежда на мощную Балтийскую эскадру, которую кругосветным путем вел из Петербурга на Дальний Восток вице-адмирал Зиновий Рожественский. Но ощущение какого-то жизненного кануна, приблизившегося вплотную, владело всеми как в Царском Селе, так и в Петербурге, и по всей стране.

В доме Степана Яковлевича Гумилева в наступившее безвременье был, помимо всего, собственный источник досадной заботы: младший сын влюбился в царскосельское пугало! На стене его комнаты даже возник рисованный на обоях портрет чаровницы в виде... то ли утопленницы в водорослях, то ли русалки (помог самодеятельный живописец-одноклассник). Прислуга и та удивлялась и хихикала втихомолку:

– Горбоносая, тощая... ничего в ней нет! Наш-то Коля – первый жених в Царском!

А Гумилев тем временем, выслушав в домике в Безымянном переулке легенду об убитом вероломной наложницей ордынском хане Ахмате, далеком предке Горенко⁵⁶, рассказывал, в свою очередь, волшебную историю, как некий гениальный скульптор изваял для знатного флорентийского вельможи статую дамы, любовь к которой стала единственной властительницей души могучего владыки. С раннего утра до поздней ночи с рыданиями и вздохами склонялся несчастный влюбленный перед недвижимой статуей, и великая любовь сотворила великое чудо:

– Однажды, когда особенно черной тоской сжималось сердце вельможи и уста его шептали особенно нежные слова, рука статуи дрогнула и протянулась к нему, как бы для поцелуя...

Провожая его в темных сенях, Анна Горенко вдруг спохватилась:

– Кажется, я потеряла кольцо... Посмотрите там, на полу, не видите?

Гумилев едва наклонился, как тонкая рука с бледно-голубыми жилками будто случайно скользнула по его лицу, на миг задержавшись у губ.

– Нет, верно, кольцо закатилось куда-то... Но чем же кончилась история вашего флорентийца?

– Лучезарная радость прозвенела в самых дальних коридорах его сердца, – сказал Гумилев, – и он стал сильным, смелым и готовым для новой жизни. А статуя так навечно и осталась с протянутой рукой.

Поглощенный счастьем, Гумилев оставался в эти последние зимние дни, вероятно, единственным из царскосельской молодежи, кому решительно не было дела до политических тревог. Между тем в городе стали появляться дальневосточные ветераны, свидетели недавних военных схваток в Корее и Маньчжурии. Их рассказы вызывали жадный интерес – всем хотелось из первых рук узнать о подлинном облике, обычаях и нравах таинственного «японца», устроившего русскому воинству такую грозу в Приморье. На мартовской Масляной неделе из Маньчжурии в Царское Село вернулся прикомандированный к российской военной миссии Красного Креста выпускник факультета восточных языков Петербургского университета Владимир Викторович Голенищев-Кутузов, один из прежних студенческих заводил у Штейнов и молодых Анненских. О «герое Мукдена» немедленно заговорили все вокруг. Двадцатичетырехлетний Кутузов, не принимавший непосредственного участия в боевых действиях, тем не менее охотно разыгрывал перед старыми товарищами роль бывалого солдата, рассказывал казарменные анекдоты, затягивал под гитару щемящие фронтовые песни и рассыпался перед восхищенными дамами в замысловатых брутальных комплиментах. Анна Горенко не пропускала ни одного собрания у старшей сестры с его участием и, устроившись поближе к вулканическому ветерану, не сводила глаз. Гумилев тоже побывал

⁵⁶ На самом деле это именно легенда, которой пленилась в детстве Анна Горенко. Последний ордынский хан Ахмат, убитый в 1481 году врагами-ногайцами в своей кочевой ставке, никакого родственного отношения к ней не имел. Зато Чингисхан, по всей вероятности, действительно, был ее прямым предком по линии матери через род Чагадаевых.

на таком «сольном представлении» в странноприимном студенческом пристанище Сергея и Инны Штейн у Бабловского парка. Прославленный участник военной миссии Красного Креста (визитировавший к Гумилевым вместе с родными) выглядел здесь помесью барона Мюнхгаузена и Тартарена из Тараскона, а усиленное внимание, которое он демонстрировал младшей сестре хозяйки, явно выходило за границы приличия даже для студенческой вечеринки. На очередной прогулке в Екатерининском парке Гумилев заикнулся было об этом, но Анна Горенко вспылила, запретила говорить и даже пригрозила расставанием. Их встречи, в самом деле, прекратились. Впрочем, как раз в это время семья Горенко была занята переездом из Безымянного переулочка в городской центр: глава семейства шел на очередное повышение в морском Управлении и снял, наконец, приличную по положению «барскую» квартиру в доме Соколовского на Бульварной. Кроме того, Гумилев знал, что с наступлением весны здоровье Инны Штейн вдруг пошатнулось и ее младшая сестра теперь проводит в домике за Бабловским парком все свободные часы. Дела там, кажется, складывались совсем плохо, у больной внезапно открылось сильное кровохарканье, и ее собирались срочно отправлять на юг, к родне в Евпаторию.

Пережидая разлуку, Гумилев коротал свободное время в поэтических беседах у Коковцевых на Магазейной или за картами и болтовней в доме зрителя царскосельских уделов А. А. Вульфуса на Малой улице. Дом Вульфусов был симпатичным, литературным – мать семейства являлась родной дочерью прославленного писателя графа Соллогуба, друга Пушкина и Белинского. Впервые появившись тут минувшей зимой, Гумилев немедленно оказался атакован многочисленным потомством Екатерины Владимировны. Анатолий, Александр, Николай, Михаил, Нина и Нелли Вульфусы наперебой спрашивали его:

– Николай Степанович, что нового написали? Прочитайте...

Их брат, румяный николаевский старшекласник Курт Вульфус, пригласивший гимназическую знаменитость в гости, довольно улыбался. Гумилев не ждал, чтобы его долго упрашивали, и без всякого жеманства начал декламировать, чеканя каждый стих:

Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.

Ему восторженно аплодировали:

– Еще, еще прочитайте...

С тех пор Гумилев с удовольствием навещал Вульфусов по их субботним журфиксам, а в смутные апрельские дни пристрастился играть с картежным виртуозом Куртом в «винт». «Они играли запоем, как говорится, до потери сознания, – вспоминал Анатолий Вульфус. – Если не было партнеров, они играли вдвоем в так называемый гусарский винт». В первый день пасхальных каникул, 18 апреля, Гумилев победно завершал второй роббер, когда разговор за столом вдруг съехал на фривольные слухи, всю идущие по городу об одной примечательной мариинской гимназистке и некоем славном герое Мукденского сражения. Ослепленный неожиданностью, Гумилев швырнул карты, громко вспылил и взвился. Разъяренных партнеров все бросились разнимать:

– Драться! Немедленно! До крови!

Постановили встретиться через час у Николаевской гимназии и ехать затем по Виндавской дороге в местечко Вырицу для сведения окончательных счетов. Гумилев, не теряя времени, вызвал с Бульварной Андрея Горенко, старшего брата Анны. Тот, очень расстроенный, сказал только, что сестра не выходит несколько дней из дома, и немедленно согласился быть секундантом Гумилева. У гимназии обоих поджидали Курт Вульфус и ассистирующий ему

хмельной студент, начинавший, кажется, трезветь и проявлять явные признаки беспокойства. В руках у Вульфюса были рапиры, тайно изъятые из спортивного гимназического зала. Свернув в ближайший двор, оба врага вместе с помощниками сбили булыжниками защиту наконечников и принялись ожесточенно оттачивать острия. Бледные, яростные, они терзали металл о каменное точило с такой силой, что вскоре острия рапир блестели узкими смертельными жалами. Студент, все время пытавшийся дружелюбно подшучивать то над одним, то над другим, совсем потерялся, жалобно крутил головой и вдруг запросился в отлучку. На него не обращали внимания, кое-как обернули орудия убийства в тряпки и газеты и направились к вокзалу: белый от возмущения Гумилев впереди, трясущийся от гнева Вульфюс позади и Андрей Горенко – между ними. Поезд уже подходил, когда на перрон выскочил ладный морской кадет в щегольском черном бушлате, торопливо озирающийся по сторонам. Заметив, наконец, среди отъезжающих пассажиров странную тройцу, он со всех ног побежал к ним, маша руками и призывая:

– Стойте! Стойте!! Директор зовет вас к себе! Директор зовет вас к себе!..

Гумилев, увидев рядом запыхавшегося брата Дмитрия (это был он), в бешенстве швырнул тряпичный сверток под ноги.

Сталь тяжело звякнула.

Среди пряного аромата увядающих лилий Иннокентий Федорович Анненский, восседающий за столом в директорском кресле, с отвращением созерцал выложенные на стол изуродованные спортивные рапиры и трех несостоявшихся гимназистов-дуэлянтов. Выслушав их сбивчивые объяснения, он, лениво потянувшись всем корпусом, встал, брезгливо провел пальцем по рапирному эфесу и, обернувшись, без злобы, задумчиво уронил:

– *Вульфюс, какая же Вы дрянь!*

Гумилев рванулся что-то сказать, но Иннокентий Федорович махнул рукой:

– Убирайтесь!

Из гимназии Гумилев и Андрей Горенко направились на Бульварную улицу. В «барской квартире» Анна только показалась им на мгновение, но сердце Гумилева оборвалось и упало – какая-то катастрофа, точно, произошла. Зато «Несуразовна» была в исступлении: орала на сына, а ошеломленному поклоннику дочери, собиравшемуся отдать жизнь за ее доброе имя, наговорила обидных резкостей, выставила вон и недвусмысленно отказала от дома. К себе Гумилев вернулся, раздавленный всем происшедшим, и вечером того же дня попытался самоубиться. Это был какой-то дурацкий слепой эмоциональный порыв: ни брат Дмитрий, так кстати оказавшийся на побывке в Царском Селе (именно ему, вместе с директором Анненским, пришедший в себя студент успел сообщить об имеющем начаться кровопролитии), ни переполошившаяся Анна Ивановна не отходили от него ни на шаг.

История вышла очень громкой. По завершении пасхальных каникул педагогический совет решал судьбу преступников: неудовлетворительная отметка за поведение и последующее исключение из гимназии. Участники собрания были настроены решительно, однако председатель Иннокентий Анненский, сокрушенно качавший головой в знак согласия с каждым обвинением против хулигана и второгодника Гумилева, взяв в конце слово, веско заметил:

– Все это правда, господа, *но ведь он же пишет стихи!*

И принял злостного нарушителя дисциплины на поруки, разрешив ему, по сдаче экзаменов, переход в следующий, выпускной класс. Директору никто возразить не посмел. Гумилев же тогда был равнодушен к своей судьбе, принимая все с полной бесчувственностью⁵⁷.

⁵⁷ Судьба его противника Курга Александровича Вульфюса (1885–1964) оказалась, насколько можно судить, более драматичной: экзамены на аттестат зрелости он сдал в Николаевской гимназии экстерном только в 1906/07 учебном году. С 1924 года К. А. Вульфюс жил в Риге, где работал врачом-гомеопатом.

А через несколько дней все вокруг забыли думать о несостоявшейся царскосельской дуэли. Пришли первые известия, что японский адмирал Хэйрахо Того пустил на дно *весь* идущий на Дальний Восток русский флот, встретив корабли Рождественского в Цусимском проливе.

Мало кто верил, но и корреспонденты нейтральных европейских держав всюду подтверждали – *весь*! Хуже того: сам Рождественский, оказавшийся подонком, не застрелился и не погиб в бою, а позорно попал в плен. Жалкие остатки разгромленной эскадры, не видя возможности сопротивления, сдались на милость победителя, трусливо спустив Андреевские флаги. За всю историю России это было самое чудовищное национальное поражение. Военная победа Империи Восходящего Солнца под Цусимой оказалась настолько эффективной, что парализовала волю государственных мужей, понимающих, что Япония, со всеми ее триумфами, весной 1905 года была уже не в состоянии воевать, что все резервы, заготовленные ею за сорок предшествующих лет, уже начисто истрачены под Ляоданом, Порт-Артуром и Мукденом⁵⁸. Генерал Куропаткин заклинал императора Николая не спешить с переговорами о мире, призывая (здорово) вспомнить хотя бы о печальной судьбе армии победоносного Наполеона Бонапарта зимой 1812 года. Но Цусима внушила фатальную мрачную уверенность: *это конец, война окончательно проиграна*. Помимо того действовал и «революционный проект» хитроумного полковника японской разведки Мотодзиро Акаси: на русских, польских и финских «борцов за свободу» пролился золотой дождь, были проведены съезды подпольных партий и закуплено оружие для мятежа. В мае забастовал Иваново-Вознесенск, текстильная столица страны, в июне баррикадами покрылась польская Лодзь, и пошли кровавые беспорядки в Финляндии. На Черноморском флоте летом вспыхнул бунт, флагманский броненосец «Князь Потемкин-Таврический» поднял красный флаг социальной революции и бомбардировал Одессу. 23 августа (3 сентября) в американском Портсмуте премьер-министр Витте подписал мирный договор, уступающий Японии Приморье. «Не Россию разбили японцы, – подытожил Витте, – не русскую армию, а наши порядки или, правильнее, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы».

Осенью, с началом учебных занятий, Гумилев наконец пробудился к жизни. Все Горенко к этому времени исчезли из Царского Села, как будто и не жили тут вовсе. Злосчастную Анну поспешили отправить к старшей сестре в Крым еще в мае. А позже статский советник Горенко во время опальных мер, принятых против морской администрации после цусимского апокалипсиса, со скандалом был изгнан в отставку, дотла разорился, позорным образом порвал с женой и затаился где-то в Петербурге. Брошенная на произвол судьбы «Несуразмовна» с остальными детьми уехала к дочерям в Евпаторию – там все они и осели из-за полного отсутствия средств для устройства жизни где-нибудь, кроме глухой южной провинции. От своего бывшего секунданта Андрея Горенко Гумилев получил из Крыма несколько печальных писем. Потом тот замолчал.

В первые же дни нового учебного года директор Николаевской гимназии, верный обязательству перед родительским комитетом, решительно взял Гумилева под строгий патронаж:

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,

⁵⁸ Флотоводческий гений великого патриота Японии Х. Того имел стратегическое значение для финала русско-японской войны. Достаточно сказать, что 18 мая, т. е. сразу после Цусимского триумфа, японское правительство обращается к США с просьбой о посредничестве для немедленного заключения мира с Российской Империей. Военные ресурсы были исчерпаны, и, будь морское сражение 14–15 мая 1905 г. менее эффективным, доблестных японцев на Дальнем Востоке через несколько месяцев ожидала бы судьба не менее доблестных французов Великой Армии на Старой Калужской дороге и под Березиной.

Слегка седеющий поэт.

Влияние Иннокентия Анненского на девятнадцатилетнего Гумилева оказалось огромным и во всех отношениях благотворным. Впервые в жизни хронический лентяй и второгодник принялся за учение всерьез, уверенно продвигаясь к итоговым экзаменам. Но дело было не только в учебе. Директор и гимназист имели общие *профессиональные* интересы в художественной словесности. Анненский не терпел интеллектуальный провинциализм отечественных литераторов. От своей сестры, вышедшей замуж за главного хранителя *Muséum national d'histoire naturelle*⁵⁹ в Париже, он получал новейшие французские журналы и книги, собрав в Царском Селе уникальную иностранную библиотеку. Анненский склонялся в своих творческих пристрастиях к поэзии французских «парнасцев»⁶⁰, совершенно неизвестных в России. Гумилеву пришлось налечь на французский, но результат оправдал все потраченные усилия. С этого времени французская поэзия XIX века стала его вторым «литературным отечеством». А под воздействием *l'art robuste*, «мощного искусства» Теофиля Готье и Леконта де Лиля поменялся гумилевский поэтический язык: подобно им, он начинает сознательно стремиться к изобразительной точности и «вводит реалистические описания в самые фантастические сюжеты»:

Чеканить, гнуть, бороться,—
И зыбкий сон мечты
Вольется
В бессмертные черты⁶¹.

Домашние Гумилева не могли нарадоваться, видя сына не только избавленным от «пугала», не только сохранившим место в гимназии, но и взявшимся наконец за ум. Степан Яковлевич уже прикидывал про себя: гуманитарий, должно быть, филолог или историк, возможно, в недалеком будущем приват-доцент, а там и профессор... Воодушевленные родители, поощряя сына, даже согласились оплатить расходы по изданию его собрания стихов, названного по полюбившемуся всем звонкому стихотворению – «*Путь конквистадоров*».

На очередном гимназическом уроке латыни благоухающий типографией экземпляр книжки был тайно вложен в классный журнал. Разумеется, титул уже имел заблаговременную надпись:

Тому, кто был влюблен, как Иксион,
Не в наши радости земные, а в другие,
Кто создал Тихих Песен нежный сон,
Творцу Лаодамии —

*от автора*⁶².

⁵⁹ Национальный музей естественной истории (*фр.*), влиятельная научная организация во Франции, объединяющая несколько исследовательских институтов, лабораторий, хранилищ и экспозиций в Париже и провинциях.

⁶⁰ Группа французских литераторов и критиков XIX века, издававших сборники-антологии «Современный Парнас» (Теофиль Готье, Теодор де Банвиль, Леон Дьеркс, Ж-М. Эредиа, Ш. Леконт де Лиль и др.). «Парнасцы» являлись предтечами европейского символизма и заявляли о себе как сторонники «чистого искусства», уделяя особое внимание художественной форме и творческому мастерству художника.

⁶¹ Теофиль Готье. «Искусство» (перевод Н. С. Гумилева).

⁶² В стихотворной дарственной надписи Гумилева упоминается книга стихов И. Ф. Анненского «Тихие песни», вышедшая (под псевдонимом «Ник. Т-о») в 1904 г., а также его трагедии «Царь Иксион» (1902) и «Лаодамия» (1902).

Вошедший Анненский невозмутимо пролистнул журнал и начал урок, как будто ничего не заметив. Завершая, он, как всегда, забрал журнал с собой, и опешивший Гумилев вынужден был целую перемену томиться перед приемной. Наконец дверь отворилась, и сосредоточенный директор, нахмурившись, молча передал журнал дисциплинированному дежурному, вытянувшемуся в струнку. Лишь в классе, собравшись с духом, Гумилев заглянул на место своей закладки – там лежал второй выпуск «Книги отражений»⁶³ со свежей надписью:

Меж нами сумрак жизни длинной,
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю.

Анненский был одним из тех редких людей, одно нахождение рядом с которыми внушало благородную уверенность в собственных силах. Но осенью несчастного российского 1905 года руководителю Николаевской гимназии приходилось трудно: мятежные беспорядки, охватившие страну, заразили и царскосельских недорослей. В гимназических классах появились фигуры, щеголявшие в кумачовых рубахах. Демонстрация бунтарских нарядов не прошла, разумеется, мимо внимания надзирателей. Послали за директором. Анненский спокойно подошел к гогочущей компании «революционеров».

– Я бы советовал вам не носить красной рубахи, – веско произнес он.

– Почему?

– *Красная рубаха – одеяние палача*, – любезно пояснил Иннокентий Федорович.

«Революционеры» онемели. Анненский покачал головой и, не прибавив ни слова, удалился. Вплоть до октября ему удавалось сохранять в гимназических стенах привычную спокойную и деловую обстановку, однако подпольные агитаторы работали вовсю, а подбить гимназистов из числа сынков местных камер-лакеев на хулиганские выходы было всегда несложно. То там, то тут на уроках с треском лопались электрические лампочки, имитировавшие террористические бомбы, испуганных учителей третировали и запирали в классах, в химической лаборатории подожгли серу... После «газовой атаки», 16 октября, Николаевская гимназия по особому распоряжению Министерства просвещения закрылась на неопределенный срок. На следующий день, 17 октября 1905 года во всех газетах появился «*Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка*». Тут провозглашались гражданские свободы – слова, собраний, печати, и гарантировался созыв постоянно действующего законодательного парламента – *Государственной Думы*. Казалось, примирительный исход найден. На очередном литературном собрании на Магазейной полная энтузиазма писательница Микулич, ставшая «*октябристкой*», трогательно просила присутствующих записать ей в альбом какие-нибудь строки «*на день российских свобод*». Приняв заветную тетрадь, Гумилев, усмехнувшись, набросал несколько строф. Микулич, заглянув, опешила:

Захотелось жабе черной
Заползти на царский трон,
Яд жестокий, яд упорный
В жабе черной затаен...

– И как же это понимать, Николай Степанович? – осторожно осведомилась «октябристка».

– А как хотите, так и понимайте, – пожал плечами Гумилев.

⁶³ Сборник литературно-критических эссе И. Ф. Анненского.

С нового 1906 года И. Ф. Анненский был отстранен с поста директора Николаевской гимназии⁶⁴.

⁶⁴ Формально его отставка была подана как повышение по службе: 5 января 1906 г. он был назначен на должность инспектора С.-Петербургского учебного округа.

VII

Обновленная Николаевская гимназия и Я. Г. Мор. Революционный хаос. Литературное признание. Выпускные экзамены. Д. И. Коковцев. «Оккультное Возрождение». Миссия мартиниста Папюса. Поездка в Евпаторию и отъезд во Францию. «Факультет герметических наук». Переписка с Валерием Брюсовым. Литературное ученичество и парижские знакомства. Киевское послание.

Петербургский немец Яков Мор, сменивший Анненского в Николаевской гимназии, говорил с акцентом, путал Некрасова с Добролюбовым, но в дисциплине толк знал. Николаевские гимназисты при виде нового директора как-то сами собой затихали и застывали, вытягиваясь во фронт. Деловитый Мор внимательно осматривал каждого из новых подопечных и, заметив малейшую неряшливость, грозил пальцем:

– И это – есть – ученик – Императорской – Николаевской – Царской Гимназии?!

На каждом слове его визгливый фальцет повышался, начиная грозно позвякивать металлом. Далее следовали выговоры, оставления в классах, вызовы родителей и прочие бичи и скорпионы школьной Немезиды. Слов на ветер Яков Георгиевич не бросал никогда. Но Гумилева заведенные новым директором строгости не задели. За своим мундиром гимназический фронт-белоподкладочник следил и без немецких рекомендаций, а по благонамеренности вряд ли Мору уступал. При известии об очередном мятежном возмущении (а в декабре в Москве дошло до уличной стрельбы и рукопашной) Гумилев морщился, отмалчивался или резюмировал кратко:

– Отвратительный кошмар!

Страна стремительно катилась к хаосу и анархии; депутаты избранной среди неслышанной смуты Думы грозили:

– Если надо будет, мы поставим *гильотины на площадях!*..

Крестьянских мужиков подбивали к убийствам, поджогам и погромам наводнившие провинцию горлопаны-агитаторы. Кто они и откуда взялись, никто не знал, но призывы к буйству всюду находили отклик. Из Слепнева дошло, что местные озорники едва не пустили на барском дворе «красного петуха», напугав до полусмерти вдову почившего контр-адмирала Льва Ивановича Львова. А в Березках дворовые постройки все-таки полыхнули, подожженные неведомыми хулиганами (дом, к счастью, уцелел). Мало кто представлял, что ожидает впереди. В семье Гумилевых – все-таки в них, точно, текла кровь Рюриковичей! – было принято держаться всем мужественно и спокойно: чему быть, тому не миновать. Младший сын демонстративно предпочитал политике поэзию.

«Путь конквистадоров», продававшийся в царскосельской книжной лавке Митрофанова, имел успех. Сергей Штейн, получивший отдел словесности в ежедневной петербургской газете «Слово», написал хвалебную рецензию и усиленно зазывал Гумилева к сотрудничеству (имя свояченицы Штейна, по обоюдному молчаливому согласию, не прозвучало). Редактор газеты «Царскосельское дело» Павел Загуляев забрал два новых гумилевских стихотворения в готовящийся литературный альманах «Северная речь». Даже Валерий Брюсов упомянул Гумилева в своих «Весах», с восточной витиеватостью выразив надежду, что вышедшая книга «лишь «путь» нового «конквистадора», а все его победы и завоевания впереди». Прочитав эту рецензию, Гумилев не понял красноречия московского витии и расстроился. Но вскоре в Царское пришло любезное письмо редактора «Весов» с предложением включить автора «Пути конквистадоров» в число постоянных сотрудников. Проницательный, осторожный и умный Брюсов сразу сообразил что к чему и теперь прини-

мал оперативные меры, чтобы закрепить за перспективным царскосельским гимназическим выпускником статус «*ученика русских символистов*».

На весенних выпускных экзаменах в Николаевской гимназии Гумилев без особых затруднений и срывов получил в итоге «*отлично*» по Логике, «*хорошо*» по Закону Божию, Русскому и Французскому языкам, Истории и Географии и «*удовлетворительно*» по Математике, Физике, Математической географии (геометрии), Латинскому и Греческому. «*Отличным*» было признано и поведение аттестуемого. Сверх всех ожиданий, аттестат за № 544, торжественно принятый из рук сияющего по случаю первого «собственного» выпуска директора Якова Мора, выглядел вполне сносно. Можно было подумать о продолжении образования.

В последние гимназические месяцы Гумилев тесно сошелся с Дмитрием Коковцевым. Болезненный, толстый, экзальтированный Коковцев мнил себя духовным наследником средневекового рыцарства, был убежденным мистиком и видел за всем происходящим в стране схватку могущественных сил, тайно состязавшихся в человечестве еще с допотопных эпох. Рассказы о верных хранителях королей и пап увлекли Гумилева, и, среди хаоса революции, рыцарственный пыл ударил ему в голову:

Я откинул докучную маску,
Мне чего-то забытого жаль...
Я припомнил старинную сказку
Про священную чашу Грааль⁶⁵.

По всей вероятности, именно Дмитрий Коковцев привлек внимание Гумилева к пребыванию в Царском Селе гроссмейстера Ордена Высших Неизвестных («l'Ordre des Supérieurs Inconnus») Жерара-Анаклета-Винсента д'Анкосса, известного более под кратким прозвищем «Врач» – *Папюс*. Это был один из самых ярких деятелей «оккультного возрождения», наступившего на рубеже столетий, когда в Европе и России странные пророки – то ли шарлатаны, то ли одержимые – наперебой объявляли себя хранителями древнего тайного (оккультного) универсального знания, сообщающего магическую власть над стихиями, вещами и людьми. Оккультные группировки множились, возникали особые ордена, негласные союзы, масонские ложи, религиозные братства⁶⁶. В 1891 году свой «Орден Неизвестных» создал и Папюс, взяв на вооружение забытые уставы шотландских роялистских лож Сен-Мартена⁶⁷. В качестве главы *мартинистов* Папюс развил деятельность, напоминающую сказочные истории о борьбе белых и черных магов. Себя и своих сторонников он считал «мистическими христианами», которые защищают Запад от демонических разрушительных сил, наступающих с языческого Востока. Особой заботой рыцарей-мартинистов были европейские христианские монархи, троны которых восточные демоны и их прислужники из «черных» тайных обществ искали разрушить в первую очередь.

Духовный наставник Папюса Филипп Низье, известный гипнотизер-целитель, в последние годы жизни был знаком с российской императорской четой и в качестве «меди-

⁶⁵ Чаша Грааль (сосуд, куда была собрана во время Распятыя кровь Спасителя) являлась величайшей христианской святыней Средневековья, которую охранял отряд легендарных рыцарей Круглого Стола.

⁶⁶ Некоторые из оккультистов занимали высокое общественное положение, другие оказывались в ближайшем окружении сильных мира, третьи действовали среди научной и творческой интеллигенции. В любом случае оккультисты получали возможность влиять на исторический ход вещей как некая «третья сила» – сила, не зависящая от государственного и общественного контроля и потому непредсказуемая. Оккультные организации, как правило, считали себя прямыми наследниками античных и средневековых тайных мистических обществ – друидов, офитов, манихеев, катаров, тамплиеров, розенкрейцеров и др.

⁶⁷ Луи-Клод де Сен-Мартен или Неизвестный Философ (1743–1803) – выдающийся мистический писатель и политический деятель, один из идеологов французских роялистов во время борьбы за Реставрацию монархии во Франции.

цинского советника» бывал в Царском Селе и Петербурге⁶⁸. В августе 1905-го Филипп умер, успев предсказать Николаю II военное поражение и близкие великие потрясения. Уже в ноябре в Россию был вызван ученик прозорливца. В отличие от учителя, народного самородка, Д'Анкосс в 1894 году получил степень доктора медицины в Сорбонне и преподавал там «философскую анатомию» (отсюда и его знаменитый псевдоним). Он был великим знатоком древних манускриптов, и даровитым писателем, и хитроумным политиком. Прибыв в Царское Село, рыцарский гроссмейстер вел себя скромно, не заботясь в своих прогулках по тихим улочкам ни о страже, ни о свите. В Александровском дворце Папюс успокоил августейшую чету, что мятежный мрак, атаковавший страну, непременно рассеется:

– Рыцари-мартинисты будут защищать и Вас, и Россию до последнего вздоха!

Дивясь патриархальной простоте российской имперской цитадели, гроссмейстер следовал к себе. Вдруг на его пути возникла некая фигура в гимназическом мундире. Папюс зорко присмотрелся:

– Comment vas-tu, jeune chercheur de verite!⁶⁹

После беседы с Папюсом Гумилев оповестил родителей, что желает ехать учиться во Францию, в Парижский университет. Нельзя сказать, что идея сомнительного басурманского образования вместо надежного, отечественного так уж вдохновила Степана Яковлевича. Но было обстоятельство, существенно повлиявшее на его решимость. Старший сын Дмитрий, завершивший гимназический курс год назад, пошел, уступая отцовскому настоянию, в петербургский Морской кадетский корпус. Ничем хорошим это не кончилось. Совершенно не способный к морскому делу Дмитрий Гумилев после первого плавания так затосковал, что был отчислен и вернулся (с трудом, окольными путями его удалось устроить в царско-сельское Николаевское кавалерийское училище). Ввиду неудачного дебюта старшего сына, Степан Яковлевич не стал проявлять непреклонное своеволие в выборе пути для сына младшего. К тому же в Париже жила сестра Иннокентия Анненского, который охотно согласился снабдить любимого ученика рекомендательным письмом. Пост и научные связи мужа Натальи Deniker явились в глазах прагматичного Степана Яковлевича существенным аргументом в пользу затеи сына Николая. Что же касается романтической мечты овладеть попутно в Сорбонне и тайнами оккультизма, сохраняющими христианских государей Европы от злых чар, то, вообще-то, ничего против такой защиты отец Гумилева иметь не мог, хотя вряд ли верил в ее действенность.

Перед отъездом Гумилев виделся с Андреем Горенко – тот сопровождал с юга сестру Инну Штейн, находящуюся в последнем градусе чахотки. Ни грязелечебница в евпаторийских Саках, ни здравница в Севастополе, где Инна провела зиму, нисколько не помогли, и несчастная, изможденная болезнью молодая женщина приехала умирать на родину к мужу. «Несуразмовна» с детьми горько бедствовала в крымском захолустье. Печальные рассказы Андрея поразили Гумилева настолько, что, уже имея на руках выездные документы, он, позабыв обиду, ринулся в Евпаторию, предварительно составив с одним из гимназических выпускников оригинальный заговор.

Его конфидент, Алексей Ягубов, был влюблен в гимназистку из Рязани, не достигшую совершеннолетия и разлученную потому строгим отцом-инспектором с царскосель-

⁶⁸ Филипп Антельм Низье (1849–1905) с детства обладал выдающимися экстрасенсорными способностями («магнетизмом», согласно терминологии того времени). Он исцелял болезни внушением или наложением рук, мог останавливать сильные кровотечения. Мнения врачей-современников о целительстве Филиппа (не имевшего медицинского образования) очень расходились. Королевская Академия Рима наградила его почетным титулом, тогда как на родине против него возбуждались уголовные процессы за шарлатанство и нелегальную практику. В России Филипп получил звание доктора медицины после успешного диагностирования пациентов на расстоянии в присутствии специальной экспертной комиссии. По слухам, он был доверенным лицом русского двора среди влиятельных французских политиков-масонов (как всегда бывает в подобных историях, граница между мистикой и тайной дипломатией тут практически неуловима).

⁶⁹ Приветствую тебя, юный искатель истины! (фр.)

ским воздыхателем. План заговорщиков заключался в том, чтобы выкрасть притесняемую девицу из Рязани, отсидеться несколько дней в Березках, следовать затем в Крым, забрать из Евпатории Анну Горенко и вчетвером бежать морем на пароходе во Францию. Но замысел, достойный пера лорда Байрона, дал сбой уже на первом этапе. Жившая в это лето в Березках Александра Сверчкова употребила все свое педагогическое красноречие, убеждая Ягубова оставить инспекторскую дочку в родительском доме до положенных законом лет – а потом и искать путей к счастливому брачному союзу. Действовала умудренная жизнью Александра Степановна тактично и хитро. Через несколько дней Ягубов совершенно потерял решимость и, укрошенный, покинул Рязанскую губернию ни с чем. Но упрямый Гумилев, проводив друга, все-таки отправился в Крым.

Весь прошедший год Анна Горенко неукоснительно начинала каждый новый день с похода на евпаторийскую почту, спрашивая там письмо от Владимира Голенищева-Кутузова из Царского Села. Письма почему-то не оказывалось, и она отправлялась восвояси, недоуменно размышляя о таком странном происшествии. С тем, что царскосельский сорвиголова о ней и думать забыл, Горенко никак не могла освоиться, предполагала потому разное, бесконечно разгуливая по грязному и дикому местному пляжу. В годовщину разлуки с Голенищевым-Кутузовым она бросила, наконец, ходить на почту, так и не разгадав задачи, куда же запропастилось послание из Царского. Гимназию в Евпатории посещать она не хотела. Книг в руки тоже не брала.

Гумилев, извещенный Андреем Горенко о новых привычках сестры Анны, нашел ее гуляющей по своему обычному евпаторийскому прибрежному маршруту с царственной неторопливостью. Он обрадовался полученной в ответ на горячее приветствие любезной улыбке и поспешил – время было дорого! – объявить о тайных срочных сборах и немедленном отъезде в Севастополь, а оттуда – в Марсель. Горенко, слушая его, согласно кивала. Ободренный, он стал говорить о Париже, о Сорбонне, где их ждет встреча с удивительным Папюсом и «белыми рыцарями», о музейном парке дикой природы, прямо в котором, по рассказам Анненского, находится дом семейства Deniker. Она продолжала улыбаться и кивать, потом вдруг, присев на прибрежный валун, закурила папихотку (об этой новой привычке Андрей умолчал). Гумилев, остановившись рядом, продолжил торопить ее собираться.

– Куда?

Было похоже, что пряный табачный дым как будто заставил Горенко пробудиться: она перестала улыбаться и смотрела на Гумилева во все глаза. Он принялся вновь повторять про Севастополь, Марсель и Париж.

– Не надо!

Минуту спустя растерянный Гумилев уже был у черты прибоа один. Вдали дельфины, резвясь, выпрыгивали из волн стремительной цепочкой – потом и они унеслись в море. Гумилеву ничего не оставалось, как вернуться из Евпатории в Березки, а оттуда, оставив мечтательное чудачество, ехать в Царское Село и отбыть во Францию заурядным экспрессом через Варшаву. Уже в начале июля он был в Париже, первые дни прожил в гостинице на бульваре Сен-Жермен, а затем нашел студенческую комнату на rue de la Gaite, 25.

Вплоть до конца года Гумилев делил свое время между лекциями в аудиториях древнего Сорбоннского колледжа в Латинском квартале и усиленными вечерними занятиями в огромном, похожем на вокзальный павильон новом зале библиотеки св. Женевьевы:

О, пожелтевшие листы
В стенах вечерних библиотек,
Когда раздумья так чисты,
А пыль пьянее, чем наркотик!

В выборе чтения он руководствовался сведениями, почерпнутыми на «Факультете герметических наук»⁷⁰, организованном Папюсом в Сорбонне как просветительский центр мартинистов. Известно, что в первые парижские месяцы Гумилев освоил труды мистика Элифаса Леви, исторический очерк Е. Bossard «Gilles de Rais, maréchal de France, dit Barbe-Vleu»⁷¹ с приложением материалов судебного процесса над средневековым чернокнижником-убийцей и «Практическую магию» самого Папюса. Но вообще сведений об общении с сорбонскими мартинистами осталось очень мало, как, в общем, и полагается при контактах с тайным мистическим союзом. Известно, что среди учеников и последователей Папюса были распространены маскарадные собрания. Сам *Врач* охотно принимал в них участие, облакаясь в средневековые гроссмейстерские одеяния. Одно из таких собраний описано Гумилевым в стихотворении «Маскарад»:

Мазурки стремительный зов раздавался,
И я танцевал с куртизанкой Содома...

Стихотворение это обращено к некоей загадочной «баронессе де Орвиц-Занетти», которая, по всей вероятности, и играла на маскарадном действе роль «Царицы Содома»⁷². Похоже, что она была «посвященной» высокой степени и имела с юным русским неофитом эротическую связь. Был ли этот роман собственно «любовным», можно только гадать: в стихах Гумилева той поры упоминаются магические обряды, связанные с ритуальным половым соитием:

Спеши же, подруга! Как духи, нагими,
Должны мы исполнить старинный обет,
Шепнуть, задыхаясь, забытое Имя
И, вздрогнув, услышать желанный ответ⁷³.

Вообще, несмотря на то, что «неизвестные рыцари» мыслили себя защитниками христианства – в области «практической магии» слушатели «Факультета герметических наук» напоминали скорее тамплиеров⁷⁴ или доктора Фаустуса. Позднее Гумилев с иронией расска-

⁷⁰ Слово «герметизм» в первоначальном значении восходит к имени легендарного Гермеса Триждыпремудрого (Трисмегиста), который учил в глубокой древности о «высших законах природы»; впоследствии это слово получило второе значение «непроницаемого», «закрытого», т. к. эти законы были недоступны для обычного разума.

⁷¹ Е. Боссар. «Жиль де Рец, маршал Франции, прозванный Синей Бородой» (фр.).

⁷² Содом – город в долине Сиддим, в устье Иордана, упоминаемый в Ветхом Завете. Его жителями были хананеи, исповедовавшие религию Молоха, требовавшую человеческих жертвоприношений. Содомляне отличались жестокостью обычаев и крайней развращенностью. Они навлекли на себя гнев Божий, были сожжены спавшим с неба огнем и низвержены в бездну (Быт. 19. 1–29). В оккультных учениях история Содома (как и история Атлантиды) является примером пагубного истолкования тайного знания, а жители Содома – образами «посвященных», не сумевших правильно распорядиться открывшимися перед ними жизненными возможностями.

⁷³ Речь в стихотворении идет о мистерии Андрогина. Согласно оккультному преданию, это было «первочеловеческое» существо, созданное Богом для борьбы с Люцифером и падшими духами и обладавшее невероятной мощью, т. к. мужская и женская натуры были слиты в нем в нераздельную целостность. Однако Люциферу хитростью удалось «расколоть» единого Андрогина на Адама и Еву, мужскую и женскую человеческие половины. С тех пор человек утратил свое первоначальное совершенство и силу, и лишь половая любовь может вновь возродить Андрогина в момент слияния мужчины и женщины в священнодействии любовного экстаза.

⁷⁴ Орден Бедных рыцарей Христа и Храма Соломонова был основан в 1119 г., после Первого крестового похода, в котором будущие «тамплиеры» («храмовники») сыграли выдающуюся роль. Вплоть до начала XIV века Орден Храма был главной воинской силой Западной Церкви. Однако, защищая христианство, тамплиеры активно пользовались черной магией и занимались политическими интригами, считая, что благая цель оправдывает любые средства. В конце концов, Орден Храма был объявлен папой Климентом V еретическим, а великий магистр тамплиеров Жак де Моле и его ближайшие сподвижники были схвачены по приказу французского короля Филиппа Красивого в пятницу 13 октября 1307 г. по обвинению в колдовстве и богоотступничестве. В 1314 г., после многолетнего следствия, де Моле был сожжен как нераскаившийся

зывает, как из научного любопытства пытался вместе с группой неких сорбоннских студентов вызвать на собеседование... князя тьмы. По его словам, он, следуя указаниям каббалистических трактатов, добрался до конца длительного ритуала и, действительно, «видел в полутемной комнате какую-то смутную фигуру». Уже в ноябре Гумилев пресытился двусмысленными парижскими оккультными приключениями и раздраженно признавался в письме к Валерию Брюсову: «Когда я уезжал из России, я думал заняться оккультизмом. Теперь я вижу, что оригинально задуманный галстук или удачно написанное стихотворение может дать душе тот же трепет, как и вызывание мертвецов, о котором так некрасноречиво трактует Элифас Леви».

Переписка Гумилева с Брюсовым, поместившим в июльских «Весах» стихи «ученика символистов», касалась в основном технических вопросов литературного мастерства. Впрочем, поэтическое творчество изначально также было для Брюсова связано с оккультизмом, правда, в особом, неожиданном ракурсе. В своих работах о символизме в искусстве он не уставал напоминать, что латинское слово «*carmina*» (стихи) происходило от «*carmen*» – магический обряд, чародейство. Брюсов был убежден, что поэтический дар связан с деятельностью *прапамяти*, таинственно сохраняющей в душе избранника все древнее знание о «началах и концах» мироздания:

Что знали – Орфей, Пифагор,
Христос, Моисей, Заратустра, Друзиды!⁷⁵

Поэтому, даже обладая обширными сведениями в разных книжных науках (а сам Брюсов был великим эрудитом, ощущавшим живую связь с культурным наследием всех народов и эпох), истинный поэт все равно выше всего должен ставить собственное словесное умение, постоянно оттачивать его, доводя стихотворную речь, передающую неуловимые грезы прапамяти, до предела выразительного совершенства. Гумилев взял за правило пересылать Брюсову все свои новые стихотворения – и регулярно получал в ответ лаконичный, но содержательный разбор их художественных достоинств и недостатков. Кроме того, Брюсов рекомендовал «ученику символистов» не ограничиваться книгами, а заводить личные знакомства с носителями пророческого поэтического дара. Впечатления от этих встреч возникали разные. Полубезумный патриарх французских модернистов Леон Дьеркс, доживавший век в Батиньолях на городской окраине среди призраков прошлого, старых вещей и ветхих книг, взял с юного поэта торжественную клятву не предавать гласности ни одно из высказанных в беседе великих откровений. Переживавший русскую смуту в парижских апартаментах на rue Théophile Gautier Дмитрий Мережковский поднял явившегося за советами и руководством поклонника на смех и выставил вон⁷⁶. А Константин Бальмонт просьбу о встрече просто

еретик, а орден окончательно распущен.

⁷⁵ В. Я. Брюсов. «Пирамиды». Склонный к исследовательской аналитике, Брюсов профессионально занимался проблемами ясновиденья и экстрасенсорики, находился в числе постоянных сотрудников научно-популярного журнала по вопросам спиритуализма, психизма и медиумизма «Ребус». Стихотворчество являлось для него одним из психических методов проникновения в потусторонние сферы. «Оккультизм, – писал Брюсов, – есть наука с точными знаниями. Есть много выдающихся людей, которые признают оккультизм наукой, изучают его. Эта наука в своей истории имеет целый ряд доказательств. И я не верю в нее, я знаю, что потусторонний мир существует».

⁷⁶ Д. С. Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус переживали в это время увлечение революционными идеями, и монархическая риторика мартинизма была для них, по выражению поэта Андрея Белого, присутствовавшего при скандальной встрече, «как кукиш под нос». «Двадцать лет, вид бледно-гнильный, сентенции – стары, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское, – возмущалась Гиппиус. – Нюхает эфир (спохватился!) и говорит, что он один может изменить мир... До меня были попытки... Будда, Христос... Но неудачные». В написанной тогда же Мережковскими политической драме «Маков цвет» Гумилев выведен под именем «очень молодого поэта» Ивана Гущина, представителя реакционной «золотой молодежи», который участвует в эротических маскарадных шоу парижского кабаре «Le Paradis» («Рай») и изучает «античную мифологию, особенно культ Митры и Астарты».

проигнорировал – под впечатлением революционных событий и вынужденной эмиграции он беспробудно пил, был угнетен психически и нуждался не в дискуссиях о символическом творчестве, а в серьезном лечении.

Но к концу года у Гумилева постепенно и в самом деле начал складываться круг любопытных парижских литературных и художественных знакомств, как русских, так и французских. В этом ему очень помогло семейство Deniker, где старший сын, Nicolas, был литератором, входившим в поэтическое общество «La Plume»⁷⁷, собиравшееся в «Taverne du Panthéon» Латинского квартала, а младший, Georges, – художником-кубистом. В числе их друзей находились те, чьи имена звучали все громче: поэт Гийом Апполинер, историк искусства Андре Сальмон, живописец Амедео Модильяни. Помимо того, молодой поэт из «Весов» был благосклонно принят политическим эмигрантом, философом и стихотворцем Николаем Минским, имевшим многолетние связи в творческих и научных кругах «большого русского Парижа»⁷⁸. А художников-дебютантов Мстислава Фармаковского и Александра Божерянова, начинавших завоевание французской столицы, Гумилев даже приютил у себя. Под мудрым водительством Брюсова от сомнительных оккультных собраний и одиноких бдений над кабалистическими и алхимическими манускриптами «ученик символистов» переключился на обычное для юных обитателей мансард Латинского квартала творческое общение, особенно продуктивное в Париже с его богатыми богемными традициями.

Занятия в Сорбонне также потихоньку эволюционировали от «герметического факультета» в сторону обычных филологических курсов по истории французской литературы. Еще немного и Гумилев, отложив в сторону фантастические проекты, погрузился бы с головой в общую студенческую жизнь, чередуя с лекциями и семинарами посиделки в литературных кафе. Мантия бакалавра Парижского университета отчетливо возникла впереди, уже двинувшись навстречу. Но тут, в очередной канун русского Рождества, великое знамение повергло хозяина школярской кельи на rue de la Gaite в новое восторженное смятение. Знамение, явившееся при посредстве обычного почтальона, представляло собой письмо с неизвестным киевским обратным адресом.

На конверте было проставлено имя Анны Горенко.

⁷⁷ Перо (*фр.*).

⁷⁸ Н. М. Минский еще в 1890 году издал сборник стихов и эссе «При свете совести», который стал первым «манифестом декадентства» в России, придумал собственную эклектическую философию «мировой пустоты» («мэнизма»), активно участвовал в народническом и социал-демократическом движениях. Он часто жил в Париже, избегая очередных общественно-политических гонений на родине.

VIII

Переписка с Ахматовой и ее согласие на брак. «Сириус». Поездка в Россию. Свидание в Киеве. Новый дом в Царском Селе. Встреча с Брюсовым в Москве. Военный «эжеребий». Скандал в Севастополе. Средиземноморские приключения. Каирский сад Эзбеки. Возвращение в Париж.

Внешне в содержании чудесного послания не было ничего особенного. Анна Горенко буднично сообщала, что перебралась из Евпатории в Киев и теперь живет у родственников, завершая курс в Фундуклеевской гимназии. Но скупые строки пели для Гумилева голосом небесной спасительницы Беатриче, возрождающим к новой жизни⁷⁹. Не веря своим глазам, он видел *ее имя и адрес*. Это, разумеется, и было главным и единственным содержанием корреспонденции. В Киев немедленно ушел ответ, и вскоре Горенко уже извещала знакомых: «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю».

Возникшая переписка стала большим потрясением для обоих. До своего послания в Париж Анна Горенко пережила убогие похороны старшей сестры (ни у кого не оказалось денег даже на гроб, и, чтобы по-людски предать земле тело сгоревшей в чахотке Инны, пришлось брать ссуду), совершила попытку самоубийства (от нахлынувшего в Евпатории отчаянья она вешалась – веревка оборвалась) и теперь вела жизнь безответной приживалки киевского дядюшки (у того слова «продажные женщины» и «публичный дом» в разговорах о будущем племянницы обычно не сходили с уст). Жила она какой-то отлетающей жизнью, пытаясь смириться с ролью обманутой и отверженной бесприданницы, «вечной скитальцы по чужим грубым и грязным городам». Теперь же все менялось. Получив очередное письмо от Гумилева, она начинала паниковать, боялась распечатать, потом справлялась у знакомых – правильно ли поняла прочитанное. Помимо прозы там были и стихи – и она, еще недавно никому не нужная и жалкая, едва узнавала себя в этих волшебных зеркалах:

Знаете ль вы, что недавно
Бросила рай Беатриче?..

Но и у Гумилева неожиданно появился влиятельный собеседник, едва ли не сильнее Брюсова. В письмах Горенко звучала неожиданная твердость, когда речь заходила об оккультной мистике, которую она считала ересью и не переносила. Ее православная религиозность всегда доходила до некой простодушной умильной изнеможенности, а в несчастьях – утвердилась до фанатизма. Эта решительность Горенко оказалась созвучна собственному совершающемуся разочарованию Гумилева: он не только оставил встречи с Орвиц-Занетти (в сложившихся обстоятельствах это было необходимостью), но и утратил весь интерес к обществу маринистов. Он даже усомнился в символизме. Отложив на время поэтические опыты, Гумилев вдруг принялся за большую философскую повесть об оккультизме и...

⁷⁹ Великий итальянский поэт, мыслитель и политик XIII–XIV вв. Данте Алигьери (1265–1321) с 9 лет был безнадежно влюблен во флорентийскую аристократку Беатриче Портинари (в замужестве – ди Барди, 1267–1290). Историю своей любви он изложил в книге «Новая Жизнь» (ок. 1293), которая считается первым любовным романом Возрождения. Образ «небесной Беатриче», пребывающей в Раю и охраняющей своего поклонника в его земных странствиях, выведен в главном произведении Данте – поэме «Божественная комедия».

Иисусе Христе. Под именем *Эгаима*, «Бога богов»⁸⁰, Назарянин появлялся в оккультных мирах среди посвященных в тайное знание титанов и творил над ними суд:

– Они прекрасны, они обольстительнее утренних звезд. Но они дети не нашей земли, они пришли издалека. Ее горести, ее надежды для них чужды, и за то *Я обрекаю их гибели!*

Повесть «Гибели обреченные» предназначалась для небольшого художественного журнала «Сириус», который Гумилев, Божерянов и Фармаковский взяли издавать в Париже с начала 1907 года при помощи живописцев и литераторов местной российской общины. Автором «Сириуса» стала и Горенко, приславшая во второй номер свои стихи, удивившие Гумилева:

На руке его много блестящих колец
Покоренных им девичьих нежных сердец.

.....
Но на бледной руке нет кольца моего,
Никому, никому не отдам я его.

Однако он безропотно отдал неожиданную стихотворную клятву «*Анны Г.*» в печать: материала для безгонорарного издания катастрофически не хватало. На третьем, мартовском номере журнал совсем заглох – к огромному огорчению Гумилева, пытавшегося спасти дело, дополняя публиковавшуюся из номера в номер философскую повесть очерками и стихами под псевдонимами «*Анатолий Грант*» и «*К-о*». «*Анна Г.*» отнеслась к краху предприятия иронически:

– Зачем Гумилев взялся издавать «*Сириус*»? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастий перенес наш Микола, и все понапрасну! Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я!

Куда больше ее занимал скорый приезд жениха:

– Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно счастлива... Всякий раз как приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недоумение. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно.

В апреле Гумилеву исполнялся призывной 21-й год: по законам Российской Империи, было необходимо лично явиться в уездное военное присутствие по месту жительства для «*выемки жеребья*», определявшего перевод в запас или прохождение срочной службы. В Киеве он был в конце месяца. Все три дня Анна Горенко среди любовных признаний постоянно принималась твердить о некой фатальной мистической идее, поразившей ее накануне:

Но – для нас перед богами
Брачный гимн не возгремит;
Вижу: грозно между нами
Тень стигийская стоит.
Духи, бледною толпою
Покидая мрачный ад,
Вслед за мной и предо мною,
Неотступные, летят...⁸¹

⁸⁰ Это имя восходит к формуле единобожия в Ветхом Завете – «`ēlōhēy hā`ēlōhōm», «Бог богов» (Втор. 10. 17).

⁸¹ Ф. Шиллер. «Кассандра». Перевод В. А. Жуковского. *Тень стигийская* – призрак смерти, адское наваждение (река Стикс в греческих мифах отделяла мир живых от мира мертвых).

По ее сбивчивым испуганным объяснениям, чем безмятежнее она ликовала, предвкушая любовную встречу, тем сильнее были одолевающие ее пророческие кошмары. По ночам на узорах обоев появлялись шевелящие губами скорбные лики – и она по нескольку ночей подряд не могла заснуть, помимо воли и страха жадно прислушиваясь к *ужасному*. Днем она исступленно каялась, выстаивая службы в Софийском соборе, но, покидая храм, вновь вспоминала о своем близком счастье, и темное мучительное томленье немедленно приступало к ней опять. Родные считали это родом религиозной истерии (если не обычным болезненным помешательством, вызванным внезапным благим поворотом судьбы). Гумилев смотрел на вещи по-иному и окончательно уверился в том, что его избранница – существо необыкновенное. Но, так или иначе, определенного решения о помолвке до отъезда Гумилева из Киева принято не было. К тому же Горенко еще не получила в своей Фундуклеевской гимназии аттестата зрелости: решительное объяснение в семьях договорились отложить на лето.

Первого мая Гумилев был в Царском Селе. За время его отсутствия домашние перебрались в благоустроенную квартиру первого этажа каменного особняка Белозеровой на Конюшенной улице – Степан Яковлевич из-за осложнений ревматизма стал совсем плох, а в новом жилье было удобнее ухаживать за лежачим больным. Наверху, во втором этаже, помещалась семья недавно приехавших из Петербурга художников Дмитрия Кардовского и Ольги Делла-Вос. Последняя вспоминала, что у новых соседей накануне приезда сына шли постоянные споры: раздраженный отец слышать не хотел об его литературных успехах и настаивал, чтобы тот в первую очередь завершил университет и избрал научную деятельность. О самом прибытии студента-парижанина Делла-Вос-Кардовская не упоминает, но понятно, что с явившимся на поклон младшим сыном суровый ветеран, прикованный недугом к кожаному кабинетному дивану, беседовал в том же духе. Мятеж в России, слава Богу, понемногу шел на убыль, новый премьер-министр Петр Столыпин железной рукой укротил и уличных возмутителей, и распоясавшуюся было Думу, а в наступавшей мирной тишине диплом и ученая кафедра обещали и почет, и достаток.

Почтительный сын показал себя совершенным молодцом. О литературной белиберде не заикался, был кроток, рассудителен – и получил в итоге от родителя благословение и средства на продолжение учебы (хотя по несолидной французской Сорбонне Степан Яковлевич прошелся не раз и не два, недоумевая, чем плох императорский университет в Петербурге). Обрадованный Гумилев среди завязавшихся затем бесед невзначай упомянул об исчезнувшей с горизонта Горенко. Насторожившаяся Анна Ивановна сдержанно заметила, что скандальная девица слыла *дурнушкой*. А Степан Яковлевич – тот ничего и не понял вовсе, и даже позволил себе легкомыслие:

– Не скажи, матушка: дурнушки-то тоже такие бывают!..

И махнул рукой.

По просьбе отца Гумилев, в ожидании военной жеребьевки, отправился на несколько дней в Рязанскую губернию – то ли с поручением к тамошней родне, то ли по делам с продажей дома в Березках (потрепанная пожаром усадьба ввиду болезни владельца была выставлена на торги еще в прошлом году). В Москве он задержался, достигнув, наконец, здания новой гостиницы «Метрополь», где в верхних этажах расположились комнаты издательства «Скорпион» и редакция журнала «Весы». Из дневника Валерия Брюсова следует, что личное знакомство учителя с учеником состоялось 15 мая: «Сидел у меня в «Скорпионе», потом я был у него в какой-то скверной гостинице, близ вокзалов. Говорили о поэзии и оккультизме. Сведений у него мало. Видимо, он находится в своем декадентском периоде. Напомнил мне меня 1895 года».

После возвращения Гумилев тянул призывной жребий – выпала действительная служба. Теперь по принятому порядку призывнику предстояло освидетельствование на осенней медицинской комиссии. Однако студентам полагалась отсрочка, и Гумилев, сдав все

экзамены за первый курс Парижского университета, мог просто отправить почтой в комиссию необходимые документы. В России его больше ничего не удерживало, и он, изъявив желание испытать на этот раз морской путь, простился с родными и отбыл из Царского Села в Севастополь. Впрочем, заказывать билет на марсельский пароход он не торопился, а снял себе комнату в одном из коттеджей севастопольской «Дачи Шмидта» – популярной курортной грязелечебницы в Песчаной бухте. Временное жилище оказалось хоть куда: в двух шагах вместе с матерью, братьями и сестрой проводила лето выпускница Фундуклеевской гимназии Анна Горенко.

У нее была... свинка!

Детскую эту и, в общем, невинную болезнь Горенко, которой только что исполнилось восемнадцать лет, переживала мучительно. Как положено, лицо распухло – и вся заранее продуманная роль счастливой невесты рухнула в тартарары!! Гумилев нашел ее до бровей закутанную в газовый платок и в первый момент перепугался. Узнав же причину, успокоился, деликатно заметив:

– Вы похожи теперь на Екатерину Великую!

Мужчина, он не придал, разумеется, досадной случайности никакого значения. А зря! Несчастная хворь, усилив мнительность, раздражила уязвленное самолюбие. Гумилев, принятый в семье Горенко по-дружески, не знал, что и делать. Благодушная «Несуразмовна» расспрашивала его о нынешней Франции, Андрей, уже по-родственному, подумывал осенью присоединиться к студенту Парижского университета и поступить учиться в Сорбонну, а Анна... только огрызалась и безутошно страдала. Гумилев старался ее развеселить, рассказывая разные, приходящие на ум занимательные истории. Так родилось одно из самых волшебных стихотворений, когда-либо написанных на русском языке:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф...

Но Горенко не унималась. Все окружающее день ото дня раздражало ее больше и больше, а нетерпеливый жених-стихотворец, как назло, лез со своими стихами и историями под горячую руку. В конце концов она вспылила и запретила рассказывать и читать ей что-нибудь – даже специально привезенную (по ее же просьбе!) пьесу о «Шуте короля Батиньоля»⁸². Терпение Гумилева лопнуло – и он с досады швырнул рукопись в горящую печь. И тогда взбешенная Горенко, собой не владея, наговорила ему...

Мысль о том, что в Севастополе никто ничего не слышал о недавнем прибытии бродячего цирка с мощными африканскими борцами, и, следовательно, упоительные любовные страсти на тайном ложе не более чем фантастический бред – эта первая за минувшие сутки здравая мысль пришла в голову Гумилеву, когда крымский берег исчез из виду. Пароход «Олег», должно быть, направлялся в Константинополь (Гумилев взял билет на ближайший по времени отправки рейс, не затрудняя себя прочими сведениями). Над водной пучиной плясали искры и лучилось полуденное солнце. За бортом реяла какая-то горемычная береговая пичуга, пытаясь догнать корабль, но силы ее слабели, и она, то приближаясь почти вплотную к спасительной палубе, то отставая, была, конечно, обречена. Гумилеву показалось, что он ясно видит наполненные укором и ужасом молчаливо рыдающие птичьи глаза. «Не рассчитала, далеко залетела», – жалели пассажиры.

⁸² Текст этой драмы до нас не дошел, хотя Гумилев, возможно, и попытался его восстановить. По всей вероятности, это было что-то шуточное, навеянное парижским визитом в Батиньоли к «королю поэтов» Леону Дьерксу.

С таким же укором и ужасом смотрела на него из своего платка Горенко, когда он машинально прощался с ее домашними (никто, вероятно, ничего не понимал, все ожидали – не сегодня, так завтра – объявления помолвки). Потом он расспрашивал хозяйку и прохожих про севастопольский цирк с африканскими борцами (все изумлялись, а некоторые шарахались), потом оказался в портовой конторе РОПит⁸³, потом – на борту «Олега». Пароход, точно, шел в Константинополь. Достигнув османской столицы, верно, следовало делать пересадку на марсельский рейс, но Гумилев никак не мог связать внезапно вышедший из-под его власти ход событий:

– В жизни бывают периоды, когда утрачивается сознание последовательности и цели, когда невозможно представить своего «завтра» и когда все кажется странным, пожалуй, даже утомительным сном.

Вместо портовой пересадки он оказался на холме Галаты, в доме невероятно красивой греческой гадалки, которая, раскидывая свою колоду, смотрела то печально, то любовно, вскрикивала, указывала пальцем на легшие карты, пытаясь что-то пояснить и как будто от чего-то отчаянно предостеречь. Внизу дремал пестрый город со своими древними куполами и минаретами, полный чужой и опасной жизни. Из этого неожиданного убежища, опомнившись, он бросился вон, из Константинополя поплыл, меняя пароходы, в Смирну, оттуда – в Александрию, потом поездом – в Каир. Среди пестрых, меняющихся картин восточных и африканских древностей он искал исцеления мыслям, все так же своевольно не подчиняющимся ему. В Александрии гид из местных оборванцев за несколько медяков охотно указал ему некие каменные руины, скрывающие, по мнению аборигенов, могилу Клеопатры и Антония⁸⁴. Гиена, соскользнув тенью с вечерних плит, ощерилась вдалеке и закричала, воя. Потом он сообразил, что Клеопатра явилась только потому, что знаменитый горбоносый профиль вероломной и распутной царицы этих мест на монетах и изваяниях удивительно повторял профиль Анны Горенко – об этом заходили у них разговоры...

В Каире он остановился в гостинице, расположенной в Аль-Азбакее, центральном районе города. В давние времена эмир Азбак построил здесь, между двух прудов, свой дворец, который повелел окружить роскошными садами. Около садов Азбакеи селилась каирская знать – вплоть до XIX века, когда городской центр постепенно был перестроен на европейский лад. Однако садовая зона была тут оставлена, превращенная в парк с газонами, беседками, фонтанами и водопадом. Гумилев, весь день бесцельно метавшийся по галдящему городу, забрел в сад *Эзбекие* (так он слышал от прохожих наименование центра Каира) уже поздним вечером. Течение мыслей сделалось несносным, и единственным выходом остановить приближающееся безумие была, конечно, смерть.

О том он, опустившись на колени, и помолился от души – впервые за все это время.

Вокруг него немедленно воздвигся рай. С изумлением он разглядывал окружающие платаны и пальмы, над которыми нависали невероятно яркие и низкие звезды, а под звездами бесшумно носились переливающиеся ночные бабочки:

И, помню, я воскликнул: «Выше горя
И глубже смерти – жизнь! Прими, Господь,

⁸³ «Русское общество пароходства и торговли», державшее постоянную транспортную линию «Севастополь – Константинополь».

⁸⁴ Египетский город-порт Александрия был основан в устье Нила в 332 г. до Р. Х. Александром Македонским, который хотел создать здесь столицу своей Мировой Империи. После смерти Александра Египтом правила династия царей, идущая от его сподвижника (диадоха) Птолемея. Одна из цариц этой династии, Клеопатра VI Филопатор (69–30 до Р.Х.) попыталась через 300 лет осуществить мечту Александра о мировом господстве. Для этого Клеопатра использовала любовный союз сначала с великим римским политиком и полководцем Юлием Цезарем, а после смерти Цезаря – с его неудавшимся преемником Марком Антонием. «Царицей мира» Клеопатра не стала: после поражения войск Антония римским императором Октавианом Августом она покончила с собой, а Египет окончательно превратился в провинцию Римской Империи.

Обет мой вольный: что бы ни случилось,
Какие бы печали, униженья
Ни выпали на долю мне, не раньше
Задумаюсь о легкой смерти я,
Чем вновь войду такой же лунной ночью
Под пальмы и платаны Эзбекие».

Вернувшись в гостиницу, он впервые осознал, что находится в Северной Африке, в древней стране Пирамид, за тысячу километров от Франции, и что лето уже на исходе, и что все родительские деньги, выданные на грядущий учебный год, за время его морского и сухопутного бегства из Севастополя до Каира потрачены без остатка...

Возвращение в Париж оказалось очень трудным! С грехом пополам он добрался до Александрии и сел на пароход, идущий в Марсель. Тут финансы Гумилева иссякли окончательно, и в этом южном французском порту, воспетом Александром Дюма, он застрял на несколько дней уже на положении бездомного бродяги. Дело осложнялось еще и тем, что Марсель летом 1907-го был охвачен уличными беспорядками, и Гумилев оказался вовлечен в какую-то скверную полицейскую историю («воевал с апашами», как он выразился позднее). Выручил случай: он познакомился с паломниками, возвращавшимися из Святой Земли, которые имели разрешение на проезд до Нормандии на угольном пароходе. Вместе с ними Гумилев обогнул Европу и, вконец измотанный тяготами пути, оказался в Трувиле. Внезапно в глазах опять померкло, и лошадиная голова с оскаленной пастью вновь начала хохотать перед глазами. Никаких сил уже не осталось! В Севастополь на последние гроши была отправлена парадная фотокарточка, которую он мечтал преподнести Горенко в миг помолвки – с только что начертанной прощальной цитатой из «Жалобы Икара» Бодлера:

Mais brûlé par l'amour du beau
Je n'aurai pas l'honneur sublime
De donner mon nom à l'abîme
Qui me servira de tombeau⁸⁵.

Но тут вмешалась доблестная французская полиция. Странное поведение и еще более странная (после нескольких дней на угольном транспорте) одежда Гумилева привлекли внимание постовых, и сразу же по выходу с почты он был задержан en état de vagabondage, за бродяжничество. Узнав, что несостоявшийся самоубийца является студентом Сорбонны и русским дворянином, полицейские, дав возможность Гумилеву прийти в себя и принять приличный вид, отправили его по месту учебы. В 20-х числах июля он вновь объявился в Париже – без денег, без крыши над головой, без надежд и планов на будущее.

⁸⁵ В мечту влюбленный, я сгорю, Повергнут в бездну взмахом крылий, Но имя славного могиле, Как ты, Икар, не подарю! (Перевод Эллиса.)

IX

Коммуна «Аббатство». Богемная жизнь. Поэтическая лихорадка. Знакомство с Е. И. Дмитриевой. Андрей Горенко. Тайная поездка в Россию. Освобождение от военной службы. Новые несчастья Анны Горенко. Самоубийственное отчаянье. Творческое самоопределение. Новая философская проза. Jardin des Plantes и салон Кругликовой. Издание «Романтических цветов». «Было – не было». А. Н. Толстой. Возвращение в Россию и объяснение с Анной Горенко.

Вернувшись в Париж, безденежный и бесприютный Гумилев первые дни проживал у приятелей Николая Деникера в художественной коммуне «L'Abbay», занимавшей пустующее здание бывшего монастыря Кретеи (Abbay de Créteil) на берегу Марны к юго-востоку от Парижа. Год назад эту творческую общину организовали молодые парижские поэты Шарль Вильдрак и Рене Аркос, а идеологом ее стал поэт, переводчик и литературный критик Александр Мерсеро, увлеченный модными идеями русского «толстовства»⁸⁶. Члены «Аббатства» соединяли занятия поэзией и живописью с земледельческим и ремесленным трудом и стремились к простоте и безыскусности мыслей и чувств. В искусстве они были *унанимистами*⁸⁷, т. е. искали «душевности» и отвергали творчество предшественников-символистов как слишком сложное по форме и чересчур ученое по содержанию. Искусство виделось тут обычным ремеслом в ряду прочих ремесел. Быт был спартанский, зато духовная жизнь коммунаров оказалась исключительно насыщенной – дни, проведенные в «Аббатстве», стали для пригретого французскими «задушевниками» Гумилева первым наглядным опытом преимуществ существования писателя в окружении дружеской творческой артели.

Вскоре Гумилев, получив из России денежный перевод «на малые издержки», покинул гостеприимный монастырь Кретеи и вновь снял студенческое жилье в Латинском квартале на rue Vaga, 1. Но в Сорбонне он больше не показывался. Дни и ночи напролет он проводил в кафе «Closerie des Lilas»⁸⁸ на Монпарнасе, где собирались участники «Аббатства», и в «Taverne du Panthéon» Латинского квартала, вотчины «La Plume». Завсегдатаев этих собраний русский поэт поражал крайней воздержанностью, ограничиваясь большей частью одной-двумя чашками кофе или стаканом гренадина. О том, что деньги, предназначенные на новый учебный год, рассеялись уже в июле по разным странам и городам Азии и Африки, Гумилев родителям сообщать не спешил, предпочитая неделями питаться одними жареными каштанами. Зато в новых стихах недостатка не было: как по волшебству, живые картинки, всплывающие в памяти, – измученная птица над бесконечной морской гладью, воющая над погребальными камнями гиена, пьяная африканская танцовщица в портовом марсельском кабаке – немедленно превращались в строчки, которые он торопливо записывал, даже не прерывая беседы. Похоже, и его, как Анну Горенко, любовные страдания подвигли к какой-то потусторонней стихии, сообщающей избранныкам в муках и отчаянии новые слова и гармонии. Брюсов и символисты оказались правы, но ощущение, что пером движешь не ты сам, а какая-то неведомая сила, было не из легких. Так, вероятно, чувствовал себя некогда юный Нико Паганини, получив свою волшебную скрипку от мрачного духа тьмы:

⁸⁶ Постоянными участниками коммуны были писатель Жорж Дюамель (будущий академик и лауреат Гонкуровской премии), музыкант Альбер Дуайен, художник Альбер Грез и типограф Люсьен Линар. Последний организовал издательство, выпускавшее книги авторов «Аббатства».

⁸⁷ От *anima* (лат.) – душа.

⁸⁸ «Сиреневый хутор» (фр.).

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Письма с новыми стихами шли в Москву к Брюсову сплошным потоком. «Если бы мы писали до Рождества Христова, – заклинал Гумилев, – я сказал бы Вам: Учитель, поделись со мной мудростью, дарованной тебе богами, которую ты не имеешь права скрывать от учеников. В Средние века я сказал бы: Maître, научи меня дивному искусству песнопения, которым ты владеешь в таком совершенстве. Теперь я могу сказать только: Валерий Яковлевич, не прекращайте переписки со мной...» Но Брюсов и не собирался прекращать переписку. Пока «ученик символистов» куролесил в Средиземноморье, в № 7 «Весов» вышла новая подборка его стихотворений, имевшая успех. На дебютанта немедленно обратил внимание главный конкурент брюсовского журнала, экстравагантный московский богач Николай Рябушинский, издатель роскошного ежемесячника «Золотое Руно». «Надо быть искренним и честным, – писал Гумилеву Рябушинский, – в Вашем стихотворении прелестные образы, в нем есть нечто родственное нашим стремлениям. Поэтому я с радостью помещаю Ваше имя в числе сотрудников «Золотого Руна». Известный щедрыми авансами и гонорарами Рябушинский собирался в Париж и настоятельно звал Гумилева встретиться. Но тот, sancta simplicitas⁸⁹, не преминул сообщить об этом своему «Maître-у», получил в ответ выволочку и, проигнорировав заманчивое предложение, так и остался сидеть на постном пайке.

Бывшего редактора «Сириуса» поддерживали и развлекали друзья-художники: Мстислав Фармаковский водил в музей живописца Гюстава Моро и в популярный японский театр Отодзиро Каваками, а Себастьян Гуревич приглашал ужинать к себе в мастерскую. «Он был совсем еще мальчик, – вспоминала поэтесса Елизавета Дмитриева, мельком столкнувшаяся с Гумилевым в собраниях русской парижской богемы, – бледное, манерное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила... Н.С. читал стихи... Стихи мне очень понравились... Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых белых гвоздик. Н.С. купил для меня такой букет».

В сентябре из России, как обещал, приехал Андрей Горенко и поселился у Гумилева на rue Vaга. Устраивая гостя, Гумилев намекнул, что его собственный скорый отъезд из Севастополя в июне не был случайностью. Андрей от души посоветовал Гумилеву не принимать всерьез близко к сердцу все, что взбредет в голову сестре, дикие выходки и фантазии которой давным-давно стали притчей во языцех:

– Это еще что! В тринадцать лет она поругалась в Севастополе с родителями, взяла и перемахнула через борт баркаса и уплыла в море, а вернулась только под вечер, когда уже собирались искать утопленное тело!

Гумилев признался: тоскует так, что ежедневно ходит из своего Латинского квартала на другой берег Сены гулять на бульваре *de Sébastopol*. Рассудительный Андрей, посочувствовав, рекомендовал Гумилеву поскорее увидеться с сестрой вновь и переговорить с ней, наконец, без горячки, стихов и истерик (ну и, разумеется, быть всегда готовым к разным сюрпризам, если свадьба все-таки состоится).

Гумилеву, действительно, так или иначе, нужно было попасть в Россию, чтобы явиться во время осеннего призыва для прохождения медицинской комиссии – экзамены в Сорбонне он не сдал, и студенческая отсрочка на него уже не распространялась. Беда заключалась в том, что родители в Царском Селе, регулярно получая бодрые парижские послания, пребывали в уверенности, что сын успешно проходит во Франции курс наук, а о появлении в род-

⁸⁹ Святая простота (лат.).

ном доме с кошмарной повинной нельзя было и думать. Поэтому, разжившись деньгами у ростовщика, ему пришлось действовать конспиративно. Были заготовлены еще несколько бодрых писем о парижских делах, которые в отсутствие Гумилева Андрей Горенко должен был периодически отсылать с rue Вага – сам же автор писем отбыл на родину *инкогнито*. Путь его, как и весной, лежал через Киев: по указаниям Андрея, Анна Горенко, квартира у кузины Марии Змунчиллы, должна была держать вступительные экзамены на киевские Высшие женские курсы. Здесь, правда, получилась накладка. Постоялица квартиры на Мерингофской улице, почему-то срочно собравшись, возвратилась к матери в Севастополь. Зато по прибытии в Петербург все пошло без помех: в Царскосельское военное присутствие удалось проникнуть без лишней огласки, и 30 октября (по «русскому» стилю, разумеется) Гумилев предстал перед военными медиками. Тут не задержали: сильный астигматизм делал призывника «совершенно неспособным к военной службе». В тот же день был выписан «белый билет», и Гумилев, свободный с этого момента от воинской повинности *навсегда*, так же незаметно покинул Царское Село. По всей вероятности, вечером он был уже на пути в Севастополь. В знак примирения Гумилев вез купленную в Константинополе чадру. Теперь Горенко, подцепив невзначай еще какую-нибудь детскую болезнь, могла скрывать от него свое лицо сколько угодно.

Но так шутить не получилось.

Оказалось, что она, действительно, поступала в Киеве на Высшие женские курсы, но заболела катаром легких. Болезнь быстро приняла острые формы, и врачи заподозрили начало туберкулезного процесса. Приговор их был однозначен: курсы – смерть, равно как и пребывание в зимний период где-нибудь, кроме южных широт:

– Теперь-то я понимаю, что переживала бедная Инна и понимаю состояние ее духа!

В старом доме на Малой Морской, где уже несколько лет проживала Инна Эразмовна со своими младшими, царил настоящий ужас: в семье намечалась *третья* чахоточная смерть среди детей (маленькая Рика Горенко умерла от легких еще в 1895-м). Несчастливая «Несуразмовна» все время порывалась немедленно везти больную на лечение в Италию или на французскую Ривьеру, хотя денег в доме не было даже на расчет с прислугой. Сама же Анна, напротив, оцепенела: у нее день ото дня сильнее болело горло, и она боялась, что туберкулезный процесс поразит глотку:

– Очень боюсь горловую чахотку. Она хуже легочной. Sic transit gloria mundi⁹⁰.

Столь кроткой Гумилев ее еще не видел. Она с благодарностью приняла чадру и была с ним очень добра и обходительна, но объясняться сразу же отказалась наотрез:

– Кажется, болезнь окончательно отняла у меня надежду на возможность счастливой жизни...

Гумилев и сам видел, что строить какие-либо планы на будущее в сложившейся ситуации нельзя. Безысходность происходящего глубоко поразила его. Оказавшись через несколько дней в Париже, он позабыл про все свои жизнелюбивые обеты, отмахивался от Андрея, сохранявшего обычное хладнокровие, пил, бродил по каким-то малайским опиумным притонам и в конце концов, очутившись однажды в блудном и пьяном ночном парижском Булонском лесу, нащупал в потайном кармане купленный в Каире крошечный пузырек с цианидом. Разломив стекло, он стряхнул на ладонь белый спекшийся кусок, похожий на половину рафинадного сахара, бросил в рот, мучительно сглотнул и, пока еще было сознание, со злостью полоснул осколками по запястью. Ангелы, толпившиеся вокруг, укоризненно закивали. Они шли мимо по лазоревому полю, все в белом, с покрытыми головами, и ему вдруг стало любопытно: смерть ли это уже или лишь завершение жизни? Вглядываясь, он тревожно ждал, что лазоревое поле померкнет и белые навсегда уйдут, но его, видно, не

⁹⁰ Так проходит мирская слава (*лат.*).

хотели оставлять. Делать было нечего, он двинулся навстречу – и услышал чей-то громкий стон...

Гумилева спасла чудовищная передозировка отравы. Он принял порцию цианида, способную поразить насмерть едва ли не дюжину человек, и потому яд не усвоился. Окоченев от холода, с рукой, почерневшей от запекшейся крови, он лежал навзничь на склоне крепостного рва, уставившись в утреннее лазоревое небо, в котором торжественной чередой проходили белые, кружевные облака. Кое-как он поднялся на ноги. Рядом валялись разорванный воротник и галстук. Все вокруг: деревья, мансардные крыши, асфальтовые дороги, небо, облака – казалось ему жестким, пыльным, тошнотворным. В ужасном состоянии он добрался до rue Вага, перепугав Андрея Горенко. Тот, вызвав врача, бросился на телеграф и отправил сестре телеграмму о случившемся. Ответ последовал незамедлительно. Телеграммой же Анна Горенко сообщала, что с чахоткой у нее вроде бы обошлось. Вслед пришло письмо: туберкулеза нет, все позади, она ждет встречи. Андрей, пробежав послание сестры вслед за счастливым Гумилевым, иронически заметил, что, выходит, в Париж пропутешествовал все-таки не зря. Он возвращался в Россию: Сорбонна оказалась ему и не по нраву, и не по карману.

Оставшись один, Гумилев под впечатлением всего происшедшего принялся за философскую прозу. Взяв путь профессионального литератора (то, что ученая стезя в Сорбонне не сложилась, он понимал не хуже Андрея Горенко), следовало наметить вехи – и в рассказах, появившихся за четыре следующих месяца, это удалось сделать. Смирение и целомудрие хранят земную любовь поэта Гвидо Кавальканти, тогда как животная чувственность Лесного Дьявола и разбойная похоть Черного Дика превращают их в отвратительных чудовищ и ведут к гибели. Высшей доблестью, как следует из истории о Золотом Рыцаре, является простодушная и твердая вера в Христа и готовность идти за Ним, вплоть до смерти, а дерзкое проникновение в оккультные тайны, лежащие за пределами простых евангельских истин, приводит лишь к бесплодной мучительной тоске, настаивающей в итоге храброго героя странной легенды о двенадцати дочерях Каина. Мастерство, трезвый расчет и мудрое здравомыслие позволяют старому Придворному Поэту превзойти молодых новаторов и создать совершенное стихотворение. И, напротив, безумное стремление скрипача-виртуоза Паоло Белличини к идеальному совершенству, лежащему за пределами земного бытия, становится дьявольским искушением, погубившим и талант, и душу, и самую жизнь музыканта. В отличие от неоконченной повести о «гибели обреченных», рассказы Гумилева соединяли философскую сложность с совершенством слога – мастерству повествования он теперь сознательно и упорно учился у Данте, Пушкина, Карамзина, Вальтера Скотта, Эдгара По, Гилберта Честертона. Брюсов, ценивший изысканность прозаической речи, признавал успехи ученика, но принимал к публикации в «Весах» далеко не все: установки нового рассказчика явно расходились с общим направлением журнала, прославлявшего демонический героизм и наития символизма.

Наступавший год Гумилев встречал в привычной богемной компании, нашедшей помимо шумных посиделок в кафе новую забаву. Николай Деникер раздобыл у отца ключи от Jardin des Plantes, и его друзья совершали теперь экзотические ночные прогулки по пустынному Ботаническому саду и Зверинцу. При свете луны французские и русские поэты читали свои стихи под ветвями ливанских кедров, забирались на вершину Лабиринта, созданного графом Буффеном еще в XVIII веке, и любовались, гуляя между бассейнами и вольерами, тибетскими медведями, гиппопотами, фламинго, павлинами и огромным мандрилом Бу-Бу. Но, следуя мудрейшему совету Брюсова неустанно расширять круг эстетических впечатлений и литературных знакомств, ночные богемные кутежи и прогулки в Jardin des Plantes Гумилев чередовал с посещениями знаменитых парижских живописных салонов Société

Nationale и Société des Artistes Indépendants (его очерк о них появился в «Весах»)⁹¹, а также – собраний в художественной студии Елизаветы Сергеевны Кругликовой, с которой его познакомил Жорж Питоев. Бывший тифлисский гимназист, а ныне студент Сорбонны, встретив старого приятеля в Париже, немедленно заинтересовал Гумилева рассказами о «Русском артистическом кружке», собиравшемся по четвергам у Кругликовой на улице Буассонад. Высокоталантливая художница и крупный гравер Кругликова принимала у себя как начинающую богемную молодежь, так и цвет «русского Парижа», признанных творческих мастеров, ученых из «Высшей школы общественных наук»⁹², громких политических эмигрантов и всевозможных знаменитостей. Гумилев был представлен ей как литератор-«весист» и вскоре превратился в желанного гостя. Став горячей поклонницей стихов Гумилева, Кругликова, по-видимому, содействовала публикации сборника «Романтические цветы», увидевшего свет в начале 1908 года. Это был блестящий итог как завершившегося литературного ученичества, так и всей подходящей к концу «французской» юношеской эпопеи. Разумеется, сборник был посвящен *Анне Андреевне Горенко*, а первый экземпляр тиража немедленно ушел в Севастополь.

Между тем их возобновленная переписка приняла странный характер. Горенко, перемогая свои хвори в зимнем Севастополе, очевидно, томилась от безделья и затеяла игру, внушенную скандальными литературными новинками последних месяцев. В повестях и рассказах Михаила Арцыбашева, Лидии Зиновьевой-Аннибал, Михаила Кузмина с невиданной еще откровенностью говорилось о сексуальных переживаниях героев, обнимающих даже и извращенные сферы. Манифестом предельной откровенности, охватившей новейшую словесность, стал рассказ молодого писателя Анатолия Каменского «Леда», героиня которого, хозяйка модного столичного салона, проповедуя античный идеал «прекрасной наготы и душевной чистоты», принимала своих гостей совершенно голой:

– Спросите себя, может ли женщина с прекрасным молодым телом, не стыдясь, не преследуя грязных целей, появляться обнаженная в толпе? Конечно, может, и даже смешно говорить, так это старо и просто. Однако все признают, и никто не делает...

Подражая «Леде», Анна Горенко с увлечением излагала в прибывающих в Париж корреспонденциях свои изысканные эротические фантазии, искусно оставляя открытым вопрос: было ли описанное пережито ей *в опытным порядке* или не было. Помня мудрое предостережение Андрея Горенко, Гумилев не спешил принимать душераздирающие письма всерьез, но чем дальше, тем больше эта затеянная от севастопольской скуки игра начинала обнаруживать дурной до оскорбительности тон, не возможный в любовном общении:

Пусть не запятнано ложе царицы,
Грешные к ней прикасались мечты...

Сияющий и небесный облик далекой возлюбленной в эти дни в сознании Гумилева постепенно померк, не совместимый с эротическими фантазиями глупой провинциальной кокетки. Впрочем, в любом случае необходимо было личное объяснение. Возвращение в Россию было давно решено, но, не желая лишнего скандала с отцом, Гумилев дипломатично ожидал весеннего завершения учебного года, чтобы предстать в Царском Селе вернувшимся

⁹¹ Статья Гумилева «Два салона» о французских выставках «Национального художественного общества» и «Общества независимых художников» была опубликована в «Весах» с характерным примечанием Брюсова: «Редакция помещает это письмо как любопытное свидетельство о взглядах, разделяемых некоторыми кружками молодежи, но не присоединяется к суждениям автора статьи».

⁹² Русскоязычное отделение сорбоннской Свободной Высшей школы общественных наук, существовавшее как автономное учебное заведение при Парижском университете в 1901–1905 гг.

«на щите», подобно греческому герою: что делать, если испытания второго курса оказались не по силам русскому студенту! В апреле он уже отдавал прощальные визиты, приобретя напоследок в салоне Кругликовой еще одно приятное знакомство с молодым поэтом и прозаиком Алексеем Толстым⁹³. «Мы часто сходились и разговаривали, – вспоминал Толстой, – о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом... Лето было прелестное в Париже. Часто проходили дожди, и в лужах на асфальтовой площади отражались мансарды, деревья, прохожие и облака – точно паруса кораблей, о которых мне рассказывал Гумилев».

В конце «европейского» апреля Гумилев выехал из Парижа, чтобы через несколько дней с пересадками добраться до Севастополя. Там, наконец, состоялось решительное объяснение с Анной Горенко, увы, совершенно не такое, как хотелось. В сердцах, Гумилев вернул «эротоманке» ее скандальные письма и потребовал назад... константинопольскую чадру. Горенко вынесла ему все их реликвии и драгоценные сувениры:

– А вот чадру я не отдам – пока совсем не изношу...

⁹³ Можно отметить, что первое впечатление от будущего классика «социалистического реализма», а тогда «поэта, мистика и народника» и отчаянного хвастуна А. Н. Толстого было у Гумилева скверным: «Он пишет стихи всего один год, а уже считает себя *maitre*'ом. С высоты своего величия он сообщил несколько своих взглядов и кучу стихов». Но уже во вторую встречу Гумилев и Толстой «сошлись, несмотря на разницу взглядов». 24 марта (6 апреля) 1908 г. Гумилев в письме к Брюсову рекомендовал учителю Толстого-поэта («его последние стихи мне очень нравятся»), а Толстой тогда же просил письмом ведущего критика популярного журнала «Нива» Корнея Чуковского «обратить внимание на нового поэта Гумилева», который «живет в Париже, очень много работает, и ему нужна в начале правильная критика».

Х

У Брюсова в Москве. Возвращение в Царское Село. «Вечера Случевского». Сотрудничество в «Речи». Вера Аренс. Летние разъезды. Первое Слепнево. Случайная встреча. У Андрея Антоновича Горенко на улице Жуковского. «Анна Ахматова». Поступление в Петербургский университет. Меланхолия. Поездка в Средиземноморье. Египетское путешествие. Новый переезд. Граф Комаровский. В мастерской Ольги Делла-Вос.

Из писем домашних Гумилев знал, что отец очень недоволен его неудачей с Сорбонной, а о литературных занятиях сына по-прежнему и слышать не хочет. Поэтому из Севастополя, не заезжая в Царское Село, Гумилев отправился в Москву, договариваться с Брюсовым об издании новой книги стихов в издательстве «Скорпион». В сочетании с уже вышедшими «Романтическими цветами» такая наглядная демонстрация литературных успехов была не лишней перед грядущим объяснением. «Мэтр» принял Гумилева у себя дома как доброго знакомого, согласился включить в планы издательства большую книгу стихов «Жемчуга» и поместить об этом соответствующий анонс в списках готовящихся изданий «Скорпиона». С этим последним козырем Гумилев и прибыл в конце «русского» апреля в дом на Конюшенной.

Выдержав бурную родственную встречу («козырь» не подействовал, отца удалось утихомирить только твердым обещанием немедленного поступления в *«императорский университет»* – да не на историко-филологический, а на... юридический факультет), Гумилев стал осваиваться в изменившейся за время отсутствия царскосельской жизни. Он познакомился с соседями-художниками, найдя уже с первой беседы множество общих тем, нанес визит на Фридентальскую улицу к Иннокентию Анненскому, который тепло принял врученную учеником книжку «Романтических цветов» («Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой... Можно пить, как глоток зеленого шартреза!»), и стал кандидатом на баллотировку в литературный кружок «Вечера Случевского», образовавшийся из прошлых собраний на Магазейной улице. Теперь общество стало весьма влиятельным среди литераторов столицы и потому закрытым – вход разрешался лишь для поэтов «с книгой», по авторитетной рекомендации и с испытательным ритуалом. Искомой книгой Гумилева стали, естественно, «Романтические цветы», поручителем парижского гостя выступил Анненский-младший (он же *Валентин Кривич*), а открытая баллотировка состоялась на заседании 24 мая, после авторского чтения только что написанной под впечатлением от севастопольского объяснения с Горенко жестокой эротической баллады «Царица»:

Когда зарыдала страна под немилостью Божьей
И варвары в город вошли молчаливой толпою,
На площади людной царица поставила ложе,
Суровых врагов ожидала царица нагою...

Эффект, произведенный чтением, был велик. Восторженный Кривич превозносил балладу, указывая на сходство ее со «стихотворной живописью» Леконта де Лиля. Как раз в это время его отец работал над статьей о французских *парнасцах*, и Валентин Иннокентьевич не упустил случая блеснуть познаниями перед старшими участниками кружка, не искушенными в европейских литературных изысках. «Старики» и в самом деле оробели, лишь прямодушная Веселкова-Кильштет, секретарствовавшая в кружке, возмутилась:

– Но, позвольте, это же... порнография!

Ей пояснили: не порнография, а *экзотика*.

– Заморская штучка!

Гумилева приняли в «действительные члены», а слава «заморской штучки» и «русского Леконта де Лиля» следовала теперь за ним по пятам. Газета «Речь», склоняющаяся к передовым взглядам на искусство, пригласила его постоянным рецензентом поэтических книг в отдел литературной критики, за стихами и рассказами потянулись журналы «Весна», «Образование» и даже солидная «Русская мысль». Привлекательной «заморской штучкой» слыл Гумилев и у царскосельских барышень, трепетавших от его французских нарядов, щегольских сюртуков и высокого шелкового цилиндра. Его считали завидным женихом, и, зная это, Гумилев очертя голову пускался во все тяжкие, призывая любопытствующих дам «быть, как солнце»:

– Николай Степанович, посоветуйте, какое мне сделать платье?

– Платье? Пурпурно-красное или серо-голубое с серебром. Но, дитя мое, зачем, вообще, платье? Помните, у Бальмонта: «Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать»...

Особенно он обхаживал дом Аренсов, превратившийся в главный городской «цветник». Трое дочерей «придворного адмирала» – Вера, Зоя и Анна – не только ходили в модных красотках, но и интересовались современным искусством, пробовали сами писать стихи и прозу. В здании царскосельского Адмиралтейства на берегу Большого пруда Екатерининского сада, где находилась должностная квартира Евгения Ивановича Аренса, постоянно бывали юные царскосельские интеллектуалы – братья Николай и Александр Пунины, «музыкальный вундеркинд» Владимир Дешевов, филолог Евгений Полетаев. Все они были недавними выпускниками Николаевской гимназии, и имя Гумилева было тут «на слуху» даже в годы его заграничного отсутствия. Сразу после возвращения из Парижа он получил от Веры Аренс послание с восторженным отзывом о «Романтических цветах» и с просьбой прислать новые стихи и рассказы. Гумилев охотно откликнулся: «Что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, созданных искусством? Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит картину, как поэт создает поэму?» Вера Евгеньевна имела, по его словам, «творческий ум, художественный глаз и, может быть, окажется твердость руки»⁹⁴. Кроме того, она была настоящей красавицей и настроена решительно. В отличие от сестры Зои, давно влюбленной в Гумилева *безнадежно и безмолвно*, Вера Аренс легко добила внимания «заграничной штучки» и уверенно вела дело к помолвке. Головы она при этом не теряла и, принимая знаки внимания от экстравагантного поэта, сохраняла в качестве надежной альтернативы старого и верного поклонника – инженера Владимира Гаккеля. Что же касается Гумилева, то он, освобождаясь от прежних любовных чар, «переадресовал» Вере Аренс одно из лирических обращений к Анне Горенко:

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны.

Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И – кто поймет намек старинной тайны?
В них девушка в венке великой жрицы.

⁹⁴ В. Е. Аренс и в самом деле вошла впоследствии в историю отечественной словесности как незаурядный переводчик Гейне, Лессинга, Ф. Жамма, финских, латышских и грузинских писателей.

В июле они уже строили планы совместного путешествия по Греции, Италии и Швейцарии. Обе семьи не были против. Анна Ивановна, догадывавшаяся о пережитых сыном в Париже душевных катастрофах и, главное, об их *сомнительном источнике*, принимала благую перемену с радостью и была готова на любые издержки.

Но перед тем, как привести эти планы в исполнение, Гумилев был вынужден на несколько летних недель оставить Царское Село, устраивая за родителей дела по наследованию Слепнева, переходившего после кончины адмиральской вдовы к Анне Ивановне Гумилевой и ее старшей сестре Варваре Ивановне Лампе. С деловыми бумагами он ездил к родне в Рязанскую губернию, затем в Максатиху за теткой Лампе, доставив ее в бежецкое имение вместе с двумя юными внучками Машей и Ольгой Кузьмиными-Караваевыми. На него самого заново увиденное родовое гнездо в российской глубинке произвело после Парижа сильное и тревожное впечатление:

Мне суждено одну тоску нести,
Где дед раскладывал пасьянс
И где влюблялись тетки в юности
И танцевали контреданс.

«В Париже я слишком много жил и работал и слишком мало думал, – писал он из Слепнева Брюсову. – В России было наоборот: я научился судить и сравнивать». Он сомневался даже в необходимости срочно издавать «Жемчуга». Впрочем, Брюсов и не торопил. «Скорпион» переживал нелегкие времена, и в первую очередь в работу шли прибыльные издания литераторов «с именем». А Гумилев томился и маялся среди бескрайних русских тверских равнин с поскрипывающими «воротцами» на проселочных дорогах. В здешней тишине он словно слышал или, может, предчувствовал что-то неизбежное для себя.

В Царское Село он вернулся в конце августа. На вокзале его встречали Вера и Зоя Аренсы. Оживленно болтая, они шли втроем по перрону – Гумилев с Верой, парочкой, впереди, Зоя чуть позади, – как вдруг Гумилев на полуслове застыл словно вкопанный, настолько внезапно, что Зоя, налетев, толкнула сестру. Та, стрельнув испуганно глазами, испугалась еще больше: с лица ее спутника стремительно сходил цвет, точно он умирал. Напугать его могла только горбоносая, длинная и прямая, как жердь, тощая девица с залитыми назад волосами, одиноко ожидавшая подачи состава на Петербург. Девица тоже поворотилась к ним и недовольно нахмурилась. Взяв себя в руки, Гумилев бессвязно отослал сестер:

– Умоляю... Внезапная необходимость... простите...

Уходя, Вера видела, как он скоро подошел к тощей, и та нехотя молвила что-то вроде: «К отцу... У отца... К знакомым... Приходите...»

Встреча с Горенко в Царском Селе Гумилева потрясла. Махнув на все рукой, он отправился по сообщенному (сквозь зубы) адресу в Петербург, на улицу Жуковского. А там, у себя в гостиной, бушевал бывший великокняжеский заместитель, пробавляющийся ныне службой в Петербургском общественном управлении:

– Как вы смеете оба выставить меня на посмешище! Ну и олух, Господи, прости, этот твой писака-декадент!..

На журнальном столе, гневно брошенный на развороте, валялся номер «Весов». Броский, черным по белому, прихотливо набранный заголовок гласил:

Н. Гумилев
РАДОСТИ ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ

Чуть ниже, столь же броско, значилось посвящение:

Посвящается А. А. Горенко

Андрей Антонович Горенко кипел от возмущения:

– Этот твой декадент, он что, не понимает, что мои и твои инициалы и фамилия полностью совпадают?! Да как он посмел!.. На службе... в присутствии самого... Суют под нос... «Вот, говорят, какие, оказывается Вам статьи в декадентских журналах посвящают, хе, хе, хе...»

Он задохнулся от возмущения, но, заметив, что губы у дочки трясутся от едва сдерживаемого смеха, воздев руку, натужно закричал:

– Прекрати – трепать – мое – имя – в печати!!!

– Да не нужно мне твоего имени, – озлясь в свою очередь, огрызнулась она. – Другое найду!

– Вот, вот!.. Найди! Хоть бабки... Хоть прабабки...

– *Прабабки?!!*

Пронзенный кинжалом ордынский хан Ахмат, хватаясь за горло и грудь, валился к ее ногам...

Ни отец, ни дочь не услышали, как трезвонил звонок.

– К барышне просятся, – заявила горничная, заглядывая в гостиную. За ней маячил гость с букетом.

– *Здравствуй!* – перепутав от волнения формы обращения, сказал Гумилев.

– *Здравствуй!* – так же на «ты» ответила Ахматова, улыбаясь.

Андрей Антонович, зорко поглядывая то на дочь, то на гостя, почему-то притих.

– Здравствуйте, молодой человек, – сухо промолвил он, пожимая руку. – М-да... Ну, что ж, оставлю вас...

Странно, но с этой встречи Андрей Антонович стал внимательно следить за стихами и статьями Гумилева в «декадентских» газетах и журналах. Ахматова же во время ежедневных визитов из Царского Села неизменно оставалась радушна, но неприступна. Разумеется, вновь говорили они только на «вы»:

– Я все поняла: наша с Вами близость не любовная, это некоторый союз двух существ, связанных друг с другом каким-то непостижимым образом, витающих в таинственных высях и имеющих некоторые смутные обязательства по отношению друг к другу. Вы – мой духовный брат. Я – Ваша духовная сестра.

Гумилев, млея от звуков ее голоса, слушал и покорно соглашался, не понимая. Ахматова приехала к отцу объявить, что осенью поступает на юридическое отделение киевских Высших женских курсов. Профессиональный выбор дочери Андрей Антонович полностью одобрил, обязался помогать деньгами и выправил, как того требовал закон, вид на ее отдельное жительство. Погостив с неделю, она покинула Петербург. Гумилев радостно махал рукой вслед поезду, потом, на выходе, присел у знакомых касс на скамью – да так и остался сидеть. В Царское он вернулся последним поездом, мрачнее тучи, и до конца лета оставался мизантропом. Правда в сентябре, выполняя данное отцу слово, Гумилев подал документы в университет, но юридический факультет не посещал, равно, впрочем, как не посещал и иные деловые, увеселительные и дружеские адреса – заперся у себя наглухо. От нервных переживаний у него сделалась лихорадка, он зябко кутался в свитера, но согреться никак не мог. Анна Ивановна не знала, что и делать, как вдруг ей пришло в голову напомнить сыну об обещанном Вере Аренс путешествии. К тому же вокруг начинала свирепствовать холера, учебные занятия всюду приостанавливались, студенты митинговали, а жители, если могли,

на время уезжали подальше от опасной Петербургской губернии. Услышав о путешествии, Гумилев и вправду ожил:

– Может, хоть там согреюсь.

Но Аренс после истории на вокзале не спешила с Гумилевым ни в Грецию, ни в Италию. Сошлись на том, что он отправится один, а она нагонит в дороге – в Константинополе, например, или в Афинах. Гумилев завернул в Киев, отыскав Ахматову в большой квартире на Предславинской улице, где соединилось все ее семейство. Он был принят «по-братски» – но и только. Тогда он продолжил путь, гадая, что́ будет, когда к нему приедет Вера Аренс и приедет ли она вообще. Несколько дней Гумилев развлекал себя красотами Константинополя, потом перебрался в Афины. Тут его ожидало письмо. Аренс сообщала доброму другу о состоявшейся у нее помолвке с инженером Гаккелем. Она была умной девушкой. Зябкая дрожь, не отпускавшая Гумилева ни в Петербурге, ни в Киеве, ни в Константинополе, была заметна и на борту парохода, идущего из Афин к египетским берегам, и только когда он ступил на африканскую землю – лихорадка прошла, и сразу стало легко и радостно:

– Если бы вы знали, какая там тишина!

Из Египта Гумилев отправил Аренс любезную открытку с приветствием, просьбой «кланяться Владимиру Андреевичу» и извинением за отсутствие письма: «Я все время в разъездах». Он вел беззаботную жизнь туриста, обосновавшись в каирской Аль-Азбакее около любезного его сердцу сада и предпринимая из Каира длительные вылазки на руины древнеегипетского Мемфиса, где вдохновенный философ Гермес Трисмегист вел некогда сокровенные беседы с Великим Драконом Мироздания, и в долину смерти, на плато Гиза, к трем Пирамидам, медленно выраставшим на горизонте и заслонившим, в конце концов, вселенную:

На седые от мха их уступы
Ночевать прилетают орлы,
А в глубинах покоятся трупы,
Незнакомые с тленьем, среди мглы.
Сфинкс улегся на страже святыни
И с улыбкой глядит с высоты,
Ожидая гостей из пустыни,
О которых не ведаешь ты⁹⁵.

Постепенно все скромные средства, отведенные на путешествие, иссякли, и Гумилев, заняв в Александрии деньги у знакомого по прошлому году ростовщика, вернулся в Россию. Во время его странствий Анна Ивановна перевезла больного мужа с Конюшенной на Бульварную улицу в освободившийся от постояльцев дом Георгиевского. Опустевшую квартиру на первом этаже особняка Белозеровой Кардовские заняли под художественные мастерские, и Делла-Вос, оборудовав свою часть студии, тут же предложила Гумилеву позировать ей для большого мужского коленного портрета, который она задумала написать к петербургской выставке «Нового общества художников»:

– Ваша внешность незаурядная: какая-то своеобразная острота в характере лица, оригинально построенный, немного вытянутый вверх череп, большие, серые, слегка косящие глаза, красиво очерченный рот.

⁹⁵ Во время путешествия Гумилев вел дневник, который, по некоторым сведениям, до сих пор сохраняется неопубликованным в частной коллекции рукописных раритетов. Часто высказываются предположения, что были и какие-то более длительные маршруты его поездок из Каира, но с достоверностью это утверждать пока не представляется возможным.

Польщенный Гумилев охотно согласился стать натурщиком, терпеливо выдерживал позу, вертел, как приказано, головой, поправлял цветок в петлице и, окончательно осмелев, порекомендовал:

– Может, лучше без косоглазия? Пусть глаза смотрят прямо...

Непреклонная Делла-Вос сказала, что иконописный двоящийся взгляд – как раз то, что нужно, что это идеально завершает весь облик. Гумилев вздохнул. На долгих сеансах он рассказывал про Египет, оживленно спорил о современном искусстве и в подтверждение своих слов читал на память одно за другим стихотворения Бальмонта, Брюсова и входящего в моду поэта Максимилиана Волошина. Во время одной из таких дискуссий в мастерскую заглянул редкий гость, «царскосельский отшельник» граф Василий Комаровский:

Вдали людей, из светлых линий,
Я новый дом себе воздвиг.
Построил мраморный триклиний
И камнем обложил родник⁹⁶.

Родовитый Комаровский страдал наследственным психическим заболеванием и годами пропадал жалким безумцем в клиниках Германии и Швейцарии или под замком в царскосельском доме. Когда же безумие отступало, в нем пробуждался лирический поэт-виртуоз, иногда затмевавший мастерством самого Иннокентия Анненского. Никакого значения своим стихам Комаровский не придавал и во время редких выступлений в царскосельских салонах, если восхищенные слушатели просили переписать тот или иной стих из его тетради – просто выдирали страницы и раздавал желающим. Гумилев лишь покосился на вошедшего аристократа и, прихлебывая чай, продолжил свой монолог о преобладании формы над содержанием стиха. Комаровский, прислушавшись, взволновался и принялся громко, горячо, скороговоркой возражать, взмахивая руками. Гумилев отрезал:

– Это дилетантизм!

Задетый Комаровский тут же отклонялся. Гумилев, усмехнувшись, заметил:

– А чудак этот ваш Комаровский, с ним и разговаривать невозможно...

К удивлению Делла-Вос, на следующий сеанс в мастерскую оба явились вместе, ничуть не поменяв тон в непрекращающемся споре, – Комаровский, в азарте, бросив взгляд на портрет, даже хохотнул:

– Эх, как Вы его... Вот таким он и должен быть – со своей вытянутой жирафьей шеей.

Гумилев, приняв позу, стал читать стихи из «Романтических цветов». Слушая одно за другим стихотворения, Делла-Вос, не переставая работать, заметила:

– Вы постоянно воспеваете какой-то один демонический женский образ. Кто же героиня этих стихов?

– Одна гимназистка, с которой я был дружен, – ответил Гумилев. – Впрочем, я и до сих пор с ней дружен. Она тоже пишет стихи...

⁹⁶ В. А. Комаровский. «Вдали людей, из светлых линий...» (1907).

XI

Сергей Ауслендер. На «башне» Вячеслава Иванова. Блок, Городецкий, Судейкин, Ремизов. У Михаила Кузмина. Время завоеваний. Ресторан Альбера Бетана. С. К. Маковский. «Академия стиха». Максимилиан Волошин. Несостоявшаяся дуэль. Елизавета Дмитриева. Возникновение «Аполлона». Журнал «Остров».

Вскоре после возвращения Гумилев узнал в редакции журнала «Весна», что с ним искал встречи Сергей Ауслендер – писатель из близкого окружения Вячеслава Ивановича Иванова, хозяина «салона на башне». Об этом ареопаге законодателей литературной моды в Петербурге не стихала громкая молва. Одевшись как нужно для столь ответственного знакомства, Гумилев прибыл на Вознесенский проспект; указанный адрес почему-то оказался хирургической лечебницей. Дав знать больничному привратнику о своем прибытии, он, ожидая приглашения, задумчиво теребил белоснежные перчатки. А швейцар тем временем бурей ворвался в полуказенное пристанище, устроенное писателю дядей-врачом, владельцем лечебницы:

– Немедленно вставайте, к Вам пришли-с!

– Кто пришел? – испугался со сна Ауслендер, еще не отошедший от вчерашней студенческой попойки.

– Да уж из тех, какие к Вам не ходят-с...

Гумилев, играя цилиндром, изумленно вступил в огромную неуютную комнату, мало чем отличающуюся от складской или больничной палаты. На кровати сидел растрепанный миловидный юноша, поспешно застегивающий ворот измятой рубахи.

– Ауслендер Сергей Абрамович?

– О-он самый, – ответил юноша, судорожно сглотнув.

– Пришел по приглашению, а также чтобы высказать некоторые мнения о вашей прозе...

«Сначала с ним было очень трудно, – признавался Ауслендер. – Я был еще молодым студентом, хотя уже печатался тогда. Но вот явился человек, которого я не знал, сразу взявший тон ментора и начавший давать советы, как писать... Просидели мы долго, впечатление сглаживалось, но Гумилев все еще был накрахмаленным. Я сказал, что вечером буду на «среде» Вячеслава Иванова, и он выразил тоже желание поехать со мной, но с таким видом, точно он делает это из уважения к Вяч. Иванову».

Литературно-артистический салон в огромном, похожем на средневековый замок доме с башней на углу Таврической и Курской улиц, куда, взяв извозчика, направились Гумилев и Ауслендер, прославился впервые четыре года назад. Слава эта имела скандальный отголосок. Блестящий историк, Вячеслав Иванов был знатоком античных языческих культов и думал оживить скудную духовную жизнь петербургской интеллигенции древнегреческими *вакханалиями* – буйными танцами, песнопениями и хмельным оргийным весельем, в котором некогда эллинские поклонники бога Диониса черпали энергию для своих головокружительных вдохновений. После гибели писательницы Зиновьевой-Аннибал⁹⁷, жены Иванова и главной вдохновительницы «башенных» радений, жизнь салона стала куда тише, но «башня» продолжала оставаться собранием самых ярких и оригинальных дарований в столичном литературном, художественном и научном мире. Теперь это был своеобразный

⁹⁷ Писательница *Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал* (1866–1907) скончалась, заразившись скарлатиной, на летнем отдыхе в деревне Загорье, где она помогала местным крестьянам бороться с распространяющейся среди детей эпидемией. Ее героическая смерть вызвала у Иванова духовный переворот, после которого он существенно пересмотрел свои взгляды на «дионисийство».

гостевой клуб, куда всегда приводили неофитов на поздние домашние обеды-симпозионы⁹⁸. «За обедом всегда сидело человек восемь-девять или больше, – вспоминала Лидия Иванова, юная дочка хозяина «башни». – И обед затягивался, самовар не переставал работать до поздней ночи. Кто только не сиживал у нас за столом! Крупные писатели, поэты, философы, художники, актеры, музыканты, профессора, студенты, начинающие поэты, оккультисты; люди полусумасшедшие на самом деле и другие, выкидывающие что-то для оригинальности; декаденты, экзальтированные дамы». Спровадив гостей, Вячеслав Иванов неизменно отправлялся работать. Писал он всю ночь напролет, а спать укладывался с восходом солнца. Утро его начиналось в два-три часа дня, когда новые гости уже рекомендовались внизу, в роскошном вестибюле, и важный швейцар в ливрее (в том же доме проживал бывший военный министр, несчастливый генерал Куропаткин) пропускал их на устланную коврами парадную лестницу.

По средам, в память славных былых времен, на «башне» часто устраивались музыкально-поэтические домашние концерты, на которых вместе со знаменитостями обычно выступали дебютанты – Иванов славился умением открывать для большой публики новые дарования. «Гумилев читал стихи и имел успех, – вспоминал Ауслендер. – Стихи действительно были хорошие. Вяч. Иванов по своему обычаю превозносил их. Гумилев держался так, что иначе и быть не может». Между тем среди всех, известных Гумилеву до того новейших русских литераторов, Вячеслав Иванов был самым загадочным и далеким. Еще в Париже Гумилев бился над крепко скроенными ивановскими стихотворными сводами, продираясь сквозь ухищренность и витиеватость и в то же время подлинность языка, изломанного по правилам чуть ли не латинского синтаксиса:

В ночи, когда со звезд Провидцы и Поэты
В кристаллы вечных форм низводят тонкий яд,
Их тайнодэянья сообщницы – Планеты
Над миром спящим ворожат⁹⁹.

Адресат этих стихов, Брюсов, отдавая дань изощренному мастерству Иванова, самого хозяина «башни» не особенно жаловал, считал чересчур замысловатым, двусмысленным и хитроумным и строго предостерегал Гумилева, чтобы тот не «совратился в дионисийскую ересь». В салоне Кругликовой тоже насмешливо вспоминали неудобопонятные лекции о «дионисийстве», которые Иванов пытался прочесть русским парижанам в «Высшей школе общественных наук» несколько лет тому назад. Ходил анекдот, как великий князь Константин Константинович (он же поэт «К. Р»), повстречав на кадетском смотре ивановского пасынка Сергея Шварсалона, спросил, читал ли тот стихи отчима.

- Так точно, Ваше Императорское Высочество!
- И понял их?
- Так точно, Ваше Императорское Высочество!
- Ну, значит, ты умней меня, я ничего не понял...

И тем не менее оказавшись на «башне» лицом к лицу с Ивановым, похожим на улыбающегося, румяного и белокурого немецкого профессора с цепким взглядом, разлетающимся пухом волос и порывистыми движениями, Гумилев, с преувеличенно-надменной учтивостью принимая похвалы, был счастлив, как школьник, сдавший решающий экзамен. Волю

⁹⁸ *Συμπόσιον* (греч.) – ритуальное пиршество, главным угощением которого является пища духовная – беседы, песнопения, актерские репризы и т. д.

⁹⁹ Вяч. И. Иванов. «Subtile virus caelitum». (1904, «Тонкий яд богов» (лат.))

себе он дал, вернувшись на Вознесенский, к Ауслендеру, кухонный шкаф которого скрывал неисчерпаемые запасы вина.

Всю зиму Гумилев, игнорируя занятия в университете, пропадал на «симпозионах», каждый раз встречая здесь воочию какое-то «имя», давно знакомое по книгам, художественным галереям или театральным афишам. Сумрачный, сосредоточенный молодой атлет, античным изваянием молчаливо возвышавшийся за столом, был Александром Блоком, автором пленительных «Стихов о Прекрасной Даме», а шумный хохотун с хитрой физиономией большеклювой птицы – скандальным «мистическим анархистом»¹⁰⁰ Сергеем Городецким, кумиром студенческих литературных кружков. Художник Константин Сомов являл собой редкую бестию и своими насмешками едва не вывел Гумилева из себя. Зато писатель Алексей Ремизов выглядел милым чудачком, толкующим прибаутками:

– Здравствуй, здравствуй, кум-Гум, куманек-Гумилек...

Вместе с Ремизовым Гумилев встретил на Таврической и парижского знакомого Алексея Толстого, недавно вернувшегося из Франции. Тот, вспоминая Париж, жаловался на невозможный петербургский режим с бессонными ночами, всякими фокусами жизни и особенно с бессмысленными скандальными кутежами:

– Думаю, конечно, уклоняться, по возможности, но это страшно трудно в нашем литературном мире – там все пьяницы...

В первые дни нового 1909 года Толстой с Гумилевым сделали визит к Михаилу Кузмину. Об этом богемном dandy¹⁰¹ с постоянной свитой бесшабашных гуляк (вроде его племянничка Ауслендера) и жеманных эстетов, воскрешавших французские придворные нравы времен Генриха III и королевы Марго¹⁰², постоянно вспоминали на «башне». Блок был убежден, что в Кузмине скрыт великий дар *народного певца*, проявиться которому в полной мере мешает «ветошь капризной легкости»:

– Кузмин, надевший маску, обрек самого себя на непонимание большинства, и нечего удивляться тому, что люди самые искренние и благородные шарахаются в сторону от его одиноких и злых, но, пожалуй, невинных шалостей.

Одна из таких «шалостей» привела к тому, что среди гостей Вячеслава Иванова Кузмин считался в последнее время *persona non grata*¹⁰³. Тем не менее, если речь заходила об австрийских барочных музыкантах¹⁰⁴, живописи итальянского кватроченто¹⁰⁵ или философии гностиков¹⁰⁶, хозяин «башни» обычно оговаривался:

¹⁰⁰ «Мистический анархизм» – художественно-философское движение, популярное в молодежной, прежде всего студенческой, среде в годы революции 1905–1907 гг. Главной установкой «мистического анархизма» было утверждение «неприятности мира» как главного свойства любой художественной природы, вне зависимости от политических убеждений. «Всякий поэт должен быть анархистом. Потому что как же иначе? – писал тогда С. М. Городецкий. – Всякий поэт должен быть мистиком-анархистом, потому что как же иначе? Неужели только то изображу, что вижу, слышу и осезаю?»

¹⁰¹ Модник, франт (*англ.*).

¹⁰² *Генрих III Валуа* (1551–1589) – французский король, склонный к содомии и окружавший себя многочисленными куртизанками-фаворитами. Его сестра *Маргарита де Валуа* (1553–1615) вошла в историю как талантливая писательница, покровительница наук и искусств, авантюристка и распутница.

¹⁰³ Нежелательное лицо (*лат.*). После кончины матери в 1904 г. Кузмин потерял постоянное жилье в Петербурге и кочевал по родственникам и знакомым. Он подолгу жил на «башне», останавливаясь, как многие друзья Вячеслава Иванова, в помещениях художественной студии, расположенной под ивановской квартирой. Летом 1908 г. Кузмин захотел поселить рядом своего фаворита Сергея Позняка, от чего Иванов, разумеется, отказался. «Благодарю. Простите. Превышение дружбы. Устроюсь в гостинице», – телеграфировал Иванову Кузмин, но обиду затаил и той же осенью опубликовал повесть «Двойной наперсник», где зло высмеивались обитатели и гости «башни» (выведенные под прозрачными псевдонимами).

¹⁰⁴ Предшественники Моцарта, композиторы и исполнители XVII–XVIII веков, средоточием деятельности которых была Венская придворная капелла (Г. Муффат, И-И. Фукс, Х. Шмельцер, Х-И. Бибер и др.).

¹⁰⁵ Высокое Возрождение, период в итальянском искусстве, приходящийся на XV век (буквально mille quattrocento – «тысяча четыреста», (*ит.*)).

¹⁰⁶ *Гностицизм* – общее условное название ряда позднеантичных религиозных течений.

– Возможно, конечно, у Михаила Алексеевича были бы более точные сведения по данному вопросу...

Гумилева дивили эти разговоры. В блестящих стихах Кузмина представлялась душа своеобразная, тонкая, но не сильная и слишком далеко ушедшая от тех вопросов, которые определяют творчество истинных мастеров. В этом мнении Гумилев лишь укрепился, когда в номере затрапезной гостиницы, среди разбросанных рукописей перед ним предстал тихий, удрученный отшельник, явно на мели. Со своими гостями dandy беседовал любезно и здраво, касаясь, преимущественно, тем деловых. Впрочем, он Гумилеву понравился. Кузмин же (действительно переживавший в удалении от «башни» томительные и нищие месяцы) зафиксировал в дневнике:

Гумилев имеет благовоспитанный, несколько чопорный вид, но ничего.

Зимой на Бульварную в Царское Село зачастили петербургские визитеры: Ремизов с Толстым и Сергеем Ауслендером, знаменитый шахматист, изящный беллетрист и тонкий знаток театра Евгений Зноско-Боровский, мрачный поэт-юморист Петр Потемкин (также сочетающий литературное творчество с составлением шахматных этюдов), режиссер Всеволод Мейерхольд, уже снискавший у петербургских театралов репутацию «обыкновенного гения». В доме Георгиевского с ними сходились царскосельские гости – Дмитрий и Ольга Кардовские, Валентин Кривич и граф Василий Комаровский, которого Гумилев, пропуская мимо ушей вечные шпильки и брюзжание, усиленно продвигал к профессиональному литературному творчеству (о чем безумец боялся вслух и помыслить)¹⁰⁷. На этих собраниях появлялся Иннокентий Анненский, с любопытством присматривавшийся к новым лицам. Со своим бывшим учеником он добродушно пикировался:

– А неточно Вы цитируете из «Тараса Бульбы», Николай Степанович...

Гумилев взял гоголевский том, открыл нужную страницу.

– Виноват. Ну и память у Вас!

Незаметно для всех Гумилев оказался притягательным центром для целого поколения столичных писателей. «Он отличался особенными организационными способностями и умением «наседать» на редакторов, когда это было нужно, – вспоминал Ауслендер. – Мы расширяли свою платформу и переходили из «Весов» и «Золотого Руна» в другие журналы. Везде появлялись стайками. Остряки говорили, что мы ходим во главе с Гумилевым, который своим видом прошибает двери, а за ним входят другие... Это было веселое время завоеваний». Кроме того, Алексей Толстой, обосновавшись в Петербурге, носился с идеей создания собственного, первого в России «журнала стихов». Эта идея занимала его со времени парижских бесед с Гумилевым. Тот договорился об участии в будущем стихотворном ежемесячнике с Ивановым и Кузминым и пропагандировал идею Толстого среди литературной молодежи. Деньги на первые расходы обещала внести еще одна «русская парижанка», также проследовавшая в Петербург устраивать свою выставку, – Е. С. Кругликова. Зимой у Толстого на Глазовской улице возникла редакция нового издания, которое, в память грез о пиратах под черным флагом, было решено назвать «*Островом искусств*» или просто – «*Островом*».

Помимо завоеваний всевозможных редакций и подготовки «Острова» «стайка» Гумилева, по примеру парижской богемы, облюбовала для постоянных встреч французский ресторан Альбера Бетана («*Chez Albert*»)¹⁰⁸. Великие тени витали тут на каждом углу.

¹⁰⁷ Тому, что наследие Комаровского стало состоявшимся фактом русской литературы, современные читатели целиком обязаны Гумилеву, который сыграл в жизни замечательного царскосельского поэта роль «импресарио». Сам Комаровский после жизненного краха, когда приступ сумасшествия в 1901 году помешал его университетским занятиям, упал духом и готовился к роли «незамеченного таланта». С современной читательской аудиторией у Комаровского отношения сложные, но «знать Комаровского – это марка!» – говорила Ахматова.

¹⁰⁸ «У Альбера» (фр.). Этот ресторан открылся в 1898 г. в достопамятном доме № 18 по Невскому проспекту. В насто-

Отсюда, когда комнатки *réz de chaussée*¹⁰⁹ дома на углу Невского и набережной Мойки арендовали кондитеры Вольф и Беранже, Пушкин уехал на смертельную дуэль с Дантесом; здесь, в бытность владельцем заведения ресторатора Франца Лейнера, Чайковский выпил роковой стакан отравленной воды. Теперь «*Chez Albert*», как на парижском Монмартре, распоряжались молодые поэты, совершая отсюда вылазки на концерты, публичные лекции и вернисажи. В толпе спорщиков, собравшихся под змеиной улыбкой древней богини, крушащей молниями грешную Атлантиду на монументальном полотне Леона Бакста, Гумилева окликнули. Он, прервавшись, раскланялся с кем-то из знакомых писателей. Рядом стоял молодой *gentleman*¹¹⁰, бесцеремонно изучавший студенческий сюртук, модный темно-синий воротничок и прическу Гумилева взглядом профессионального живописца, наткнувшегося на любопытную натуру.

– Познакомьтесь: Сергей Константинович Маковский, организатор этого восхитительного «Салона».

Художественный «Салон» Маковского в Меншиковских палатах был и в самом деле хорош – не хуже парижских выставок *Société Nationale* и *Société des Artistes Indépendants*. Гумилев, протянув руку, счел долгом кратко подытожить впечатление:

– Декаданс и ренессанс. Первые стремятся к новым переживаниям во что бы то ни стало, вплоть до гротеска. Но, чтобы дразнить наши притупленные нервы, ликеров уже мало – нужен стоградусный спирт. Сомов, Бакст и Бенуа прекрасны, но они не нашего поколения, они уже сказали свои слова. А вот Рерих, несомненно, не декаданс, а ренессанс: могуч, здоров, прост с виду, утончен по существу. И, главное, глубоко национален...

– «Народен», хотите Вы сказать?

– Нет, именно национален. Наша «народность» – это в основном березки, лапти, армяки и бороды, а Рерих открывает нам области духа. Я непременно об этом напишу.

– А я *уже* об этом написал, – признался Маковский.

За двенадцать лет, минувших с той поры, когда выпускник гимназии Гуревича в погребальном саване читал перепуганным курсисткам кладбищенские вирши, судьба Сергея Маковского, сделав несколько зигзагов в естествознание, юриспруденцию и тайную дипломатию¹¹¹, окончательно связала сына придворного художника с изящными искусствами. Он публиковал стихи (в отличие от гимназических, вполне «благовоспитанные»), слыл у именитых коллекционеров знатоком музейного дела, но настоящую известность получил своими очерками о европейских художественных выставках. На фоне кустарных поучений престарелого критика Владимира Стасова, судившего о современной живописи по старинным рецептам Чернышевского и Добролюбова и невежественной ругани газетных «искусствоведов» Виктора Буренина и Николая Кравченко, эти статьи читались как захватывающие сказочные повести о заморских диковинах. «Бывает странное соотношение между творчеством художников и красотой драгоценных камней, – чаровал Маковский робких российских дилетантов, привыкших рассматривать в дешевых журналах плохие черно-белые репродукции с картин европейских мастеров. – Искусство Тициана напоминает жемчуг с дымно-золоти-

ящее время в легендарных помещениях «дома Котомина» – культурной святыни Петербурга – работает «Литературное кафе».

¹⁰⁹ Помещения с выходом на улицу (*фр.*).

¹¹⁰ Понятие «*джентльмен*» в значении безупречного образа воспитанного мужчины-аристократа сложилось в Европе и России в последней четверти XIX – начале XX в.

¹¹¹ После завершения реальных классов «Лиговской гимназии» С. К. Маковский (1877–1962) поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, поясняя свой выбор тем, что «остальные науки узнаются и так». После завершения университетского курса (1900) он поступил на службу в Государственную канцелярию. Позднее министр внутренних дел В. К. Плеве, добрый знакомый родителей Маковского, взял его к себе чиновником особых поручений дляграничной работы. Однако с государственной службы Маковский ушел, найдя свое призвание в художественной критике. Он сотрудничал в журналах «Мир Божий» и «Мир Искусства».

стыми отливами. Искусство Беклина – изумруд ярко-зеленый, как вода южного моря у скалистых побережий. Картины Пювиса светят сказочно и смутно, как бледные, многоцветные опалы. Бен-Джонс прозрачен и таинственно-нежен, как лунный камень. Творчество Бердслея – черный алмаз с тонко отшлифованными гранями, с острым холодным блеском, с загадочными мерцаниями преломленных лучей, черный алмаз в филигранной оправе, восхищающий совершенством работы и в то же время наводящий жуткий трепет, словно талисман волшебника...»

Среди эстетов из петербургского творческого объединения «Мир Искусства» Маковский прославился тем, что даже свои сорочки отправлял стирать в Лондон, где, по его мнению, только и могут накрахмалить белье как следует. Однако и о России он не забывал никогда, считая себя, как истинный петербуржец, *просвещенным националистом*.

– Почему-то, – иронизировал Маковский, – мы обретаем национальное непременно в отречении от западного, а тяготея к Западу – обязательно отрекаемся от России. Даже среди художников произошел этот дурацкий раскол на «западников» и «патриотов», хотя все направления в искусстве на Западе и в России развиваются сейчас в едином русле, и резкой границы тут просто нет...

После того как главный импресарио «Мира Искусства» Сергей Дягилев, занятый подготовкой «русских сезонов» в Париже, перестал издавать художественно-литературный ежемесячник¹¹², «миriskусники» обратили взоры на Маковского. Тот отнекивался, указывал друзьям на московские «Весы» и «Золотое Руно», но мысль о собственном журнале его, по-видимому, не оставляла. Устроившись с Гумилевым в секретарской комнате при выставочных залах, Маковский увлеченно развивал возможную программу издания, поминутно цитируя Шеллинга, Ницше, англичанина Джона Рескина и златоуста петербургских театральных гостиных Акима Волинского:

– Даже в своем искусстве, не говоря уж о религии и общественности, Россия не ушла пока дальше Диониса, самого эмоционального из всех богов древней Эллады. Но где же, спрашивается, храм разумного бога Аполлона? Твердого, строгого, творящего духа в России как не было, так и нет. А надо, чтобы с экстазным сердцем в русском человеке заговорил и ум, который умеет видеть и понимать это сердце. От Диониса к Аполлону: таков, по-моему, лозунг современной минуты. *Мы идем к Аполлону*¹¹³.

Гумилев задумчиво листал надписанный ему хозяином «секретарской» томик «Страниц художественной критики». «Сразу разговорились мы о поэзии и о проекте нового литературного журнала, – вспоминал Маковский, – от многих писателей уже слышал он о моем намерении «продолжать» дягилевский «Мир Искусства». Тут же поднес он мне свои «Романтические цветы» и предложил повезти к Иннокентию Анненскому. Возлагая большие надежды на помощь Анненского писательской молодежи, Гумилев отзывался восторженно об авторе «Тихих песен» (о котором, каюсь, я почти ничего не знал). Гумилев стал ежедневно заходить и нравился мне все больше. Нравилась мне его спокойная горделивость, нежелание откровенничать с первым встречным, чувство достоинства, которого, надо ска-

¹¹² Журнал «Мир Искусства» С. П. Дягилев издавал в 1898–1904 гг., сначала как иллюстрированный искусствоведческий бюллетень, выходящий раз в две недели, а с 1900 г. – как художественно-литературный ежемесячник, сыгравший большую роль в становлении русского символизма. Журнал прекратился после ряда внутренних конфликтов и финансовых кризисов; в это время уже обозначился интерес Дягилева к театральному проекту, который через три года воплотится в первый «Русский сезон» в Париже.

¹¹³ В Петербурге тех лет идеи «аполлонизма», связанные в европейской культуре с именами немецкого романтика, философа и теоретика искусства Фридриха Шеллинга (1775–1854), английского писателя, художника и критика Джона Рескина (1819–1900) и Ф. Ницше, усиленно пропагандировал выдающийся историк культуры и театровед Аким Львович Волинский (1863–1926), которого Маковский лично знал и высоко ценил. Именно взгляды Волинского, по-видимому, и сыграли решающую роль в определении программы и даже названия будущего журнала Маковского (см. А. Л. Волинский о русском искусстве // Обзорение театров. 1908. 29 янв. (№ 322). С. 16–17).

зять, часто не достаёт русским. Нас сближало, несмотря на разницу лет, общее увлечение французами-новаторами и вера в русских модернистов. Постепенно Гумилев перезнакомил меня со своими приятелями – Алексеем Толстым (в то время он только писал стихи), с Ауслендером, Городецким...». И все же, несмотря на то что «у Альбера» всюду поднимались тосты за будущий журнал и звучали речи «во имя бога Аполлона», Маковский колебался и медлил с принятием окончательного решения:

– Нам всем необходим *старший советчик*. Это необходимо прежде всего мне самому, чтобы придать авторитетность в трудной роли редактора и оградить меня от промахов.

Гумилев вновь предложил Маковскому встречу с Иннокентием Анненским.

Маковский заверил, что обязательно наведается в Царское Село, как только немного утихнет выставочная суета. Тем временем Гумилев приступил к Вячеславу Иванову с просьбой прочитать будущим сотрудникам «аполлонического» журнала курс лекций об искусстве поэзии. Иванов, недоуменно пожимая плечами – «Ну, если вам так хочется!» – согласился, поколдовал несколько ночей над своими книгами, и... «Появилась большая аспидная доска, – вспоминал поэт Владимир Пяст, примкнувший тогда же к гумилевской башенной «стайке», – мел в руках лектора; слышались звуки «божественной эллинской речи»; раскрылись тайны анапестов, пеонов и эпитритов, «пародов» и «экзодов»¹¹⁴. Все это ожило и в музыке русских, как классических, так и современных, поэтов... Из уст Вячеслава Иванова извергались светящимися потоками самоцветные мысли по вопросам поэтического мастерства».

– Да тут у вас настоящая *Академия Стиха!*

Новый гость на Таврической был огромен, толст и бодр, соединяя в своем облике Пантагрюэля Рабле, Портоса Дюма и Тартарена Доде. Главный художественный критик брюсовских «Весов» Максимилиан Волошин, с которым Гумилев разминулся в Париже, настиг его в Петербурге, оказавшись на редкость сговорчивым. Он тут же согласился прочесть на «башне» собственную лекцию о поэзии, добрался к «Альберу», мгновенно сдружился со всей «стайкой», горячо поддержал «Остров», а немного спустя доверительно обратился к Гумилеву и Алексею Толстому с просьбой... выступить его секундантами на наметившейся вдруг после прибытия из Парижа в Петербург дуэли. Правда, несколькими часами позже просьба оказалась отозвана – к неудовольствию Толстого, уже затеявшего решительные переговоры с волошинским супостатом, и к удивлению Гумилева, не подозревавшего, что смертельные картели могут раздаваться и отзываться с такой легкостью¹¹⁵. У петербургских дам парижский бонвиван¹¹⁶ пользовался, судя по всему, головокружительным успехом. На публичную лекцию Вячеслава Иванова о «Terror Antiquus»¹¹⁷ Бакста, проходившую в набитом битком Конюшенном зале (выставленная в «Салоне» Маковского страшная картина про Атлантиду сделала настоящую сенсацию в столице), Волошин явился в сопровождении трех очаровательных спутниц.

С одной из них, забавной недотрогой в пестрых одеяниях, Гумилев дружески раскланялся. Букет пушистых белых гвоздик в кафе у Люксембургского сада вспомнился и ей. По завершении лекции Гумилев и Елизавета Дмитриева уже дружески болтали в ресторане «Вена», вспоминая Париж. Гумилева сместила ее необъятная юбка-хламида, сместили вскло-

¹¹⁴ Перечисляются специальные стиховедческие термины и понятия (*анapest* – трехстопный метр с последней сильной стопой; *пеон* – сверхдлинный метр из четырех стоп; *эпитрит* – вид мелодики в древнегреческой поэзии при стопе из одного краткого и двух долгих слогов; *парод* – начальная хоровая песня в древнегреческом театре; *экзод* – финальная песня хора).

¹¹⁵ История была связана с интимным письмом Волошина к давней подруге семьи Александре Орловой («Птице»), каковое перехватил ее новый муж, К. И. Лукьянчиков, посчитавший фамильярность стиля личным оскорблением. *Картель* (вызов на поединок) был отозван по настоятельной просьбе самой Орловой.

¹¹⁶ Жизнелюб (*от фр. bon vivant*).

¹¹⁷ «Древний ужас» (*лат.*).

коченные волосы, папихотки, неряшливость и задорный тон, который принимала эта чудесная дурнушка:

– Вот вы пишете об императоре Каракалле, который делал мумии крокодилов... Как же это нехорошо – убивать крокодилов!..

Гумилев отозвал Волошина в курительную залу:

– Она что, *всегда так говорит?*

– Не поверишь – *всегда!* – со смехом отвечал тот.

4 марта 1909 года Максимилиан Волошин и Сергей Маковский приехали на литературный вечер, который Гумилев устроил у себя в Царском Селе. В дом на Бульварной был зван Иннокентий Анненский. «Он был весь неповторим и пленителен, – вспоминал Маковский. – Таких очарователей ума – не подберу другого определения – я не встречал и, вероятно, уже не встречу». Необыкновенное обаяние Иннокентия Федоровича произвело на Маковского столь сильное действие, что он немедленно объявил о начале работы над новым литературно-художественным журналом «*Аполлон*»:

– Аполлон – только символ, далекий зов из еще не построенных храмов, возвещающий нам, что для искусства современности наступает эпоха устремлений – всех искренних и сильных – к новой правде, к глубоко сознательному и стройному творчеству от разрозненных опытов – к закономерному мастерству от расплывчатых эффектов – к стилю, к прекрасной форме и животворящей мечте!

Возле собственных апартаментов на набережной Мойки, 24 Маковский снял для «Аполлона» просторное помещение с гостинными залами. Помимо заседаний редакции тут планировались выставки и публичные собрания. По требованию Маковского, постоянные авторы журнала должны были появляться в редакционных стенах исключительно в смокингах (художник Михаил Нестеров шутил: богемная братия, сменив блузы и бархатные пиджаки с бантами на белые накрахмаленные груди, жилеты с особенно глубоким вырезом, высокие воротнички и лакированные ботинки, вознамерилась проводить в «Аполлоне» дипломатические приемы!) *Pápa Makó*¹¹⁸, как тут же прозвали элегантного шефа «аполлоновцев», искал меценатов, договаривался с художниками и типографами, чтобы обеспечить невиданное качество иллюстраций и заставок, и, готовя программные статьи для первых номеров, подолгу засиживался в своем редакционном кабинете с Иннокентием Анненским, Максимилианом Волошиным (тот, впрочем, вскоре уехал на лето в свой крымский замок в Коктебеле), Акимом Волынским, Вячеславом Ивановым и духовным вождем «мирискусников» Александром Бенуа. Это была «старшая редакция» журнала. Редакцию «молодую» возглавлял Гумилев, получивший в помещениях на Мойке собственное присутственное место. «Гумилев горячо взялся за отбор материала для первых выпусков «Аполлона» – с полным бескорытием и примерной сговорчивостью, – вспоминал Маковский. – Мне он сразу понравился тою серьезностью, с какой относился к стихам, вообще к литературе, хотя и казался подчас чересчур мелочно принципиальным судьей. Зато никогда не изменял он своей принципиальности из личных соображений или «по дружбе», был ценителем на редкость честным и независимым». Изящество манер и вдохновенную увлеченность молодого поэта первыми оценили молодые дебютантки, как бабочки на огонь слетавшиеся в залы на Мойке, отделанные по образцу парижского светского салона L'Empire des Français¹¹⁹. Гумилев иногда предлагал собеседнице продолжить разговор в «Chez Albert», а переместившись на противоположную набережную в уютный ресторанный кабинет, заводил издали беседу о связи творческого духа с пылкими вожделениями плоти:

¹¹⁸ Папаша Мако (фр.).

¹¹⁹ *Вторая Империя* (фр.), эпоха правления Наполеона III (1852–1871), сформировавшая особый художественный стиль, тяготевший к броскому декору, вычурным и эклектичным формам.

– Состояние влюбленности – профессиональная необходимость для подлинного поэта, поймите это, дитя мое...

Маковский отметил, что юный помощник, не отличавшийся, на его взгляд, благообразием внешности, весьма бойко завоевывает сердца капризных богемных красавиц:

– Да Вы, оказывается, повеса из повес!

А Вячеслав Иванов иронизировал на лекциях в «Академии стиха»:

– Николай Степанович очень близок первобытным певцам северных народов – он тоже пишет только о женщинах и о море...

Там, действительно, почему-то непременно было море, над бледными дюнами нависала неправдоподобная луна, с тонкой фигуры тихо скользил на мокрый песок плащ, и оставалось лишь взглянуть пришедшей в лицо... Но жалобы, рыдания, упреки всегда возвращали его назад, и он, мучительно оцепенев, смотрел на очередную разгневанную любовницу, не пытаясь удержать. Так завершалось каждое из свиданий. Все женщины, которых он с ожесточением отчаянья призывал к себе, неумолимо поглощались лунным морским видением, тонули и исчезали в нем без следа¹²⁰.

– Так Вы не будете обижать крокодилов?

Вот на кого не распространялось морское проклятье! Но Елизавета Дмитриева нисколько не стремилась ни к мелодраматическим сценам, ни даже к человеческой определенности отношений. Угловатая, отчаянно картавящая, она вообще как будто ни на кого не обижалась, ничего не требовала и с необыкновенной бодростью несла крест нищей учительницы в гимназии на Петроградской стороне¹²¹. Это было странное существо: забавная и несуразная коротышка с чуть вихляющей (после перенесенного в детстве костного туберкулеза) походкой. Говорили, правда, что в Париже Дмитриева оказалась недаром и что среди «посвященных» в оккультные тайны она занимает не последнюю степень. Но одного взгляда на трогательную пигалицу, весело ковыляющую рядом с ним по деревянным торцам Большого проспекта, Гумилеву было достаточно, чтобы посрамить сплетников.

Она писала звонкие стихи, которые Гумилев пристроил во второй номер «Острова». Впрочем, выйдет ли этот № 2, никто не знал – грядущий «Аполлон» с его роскошным литературным отделом охладил издательское рвение Толстого и других «островитян»¹²². А № 1 весной уже находился в продаже; по замечанию Сергея Ауслендера, после знакомства со всем содержимым «стихотворного журнала» можно было смело сказать:

– Право, не очень плохо пишут стихи и в наше время!

¹²⁰ Известно (да и то на уровне легендарных слухов) лишь одно имя среди героинь мимолетных романов «донжуанского» сезона 1908–1909 гг. – *Лидия (Лири) Аполлоновна Аренс* (1889–1976), племянница «придворного адмирала» и двоюродная сестра Веры Аренс. Ахматова считала ее самой вероятной адресаткой гумилевского стихотворения «Свиданье». Царскосельские легенды упоминают о каком-то громком семейном скандале в Адмиралтействе и о том, что героине «Свиданья» едва ли не было отказано от дома, а к автору знаменитого стихотворения все Аренсы затем окончательно охладели. Л. А. Аренс жила в Петербурге (Ленинграде), работала техником-чертежником, жила в Ленинграде, подвергалась репрессиям; она написала воспоминания о М. А. Волошине, с женой которого М. С. Заболоцкой-Волошиной поддерживала дружеские отношения.

¹²¹ 22-летняя Е. И. Дмитриева была выпускницей Императорского женского педагогического института и некоторое время преподавала историю в Петровской женской гимназии. «Из ее преподавательской жизни, – вспоминала М. И. Цветаева, – знаю только один случай, а именно, вопрос школьникам попечителя округа: – Ну кто же, дети, ваш любимый русский царь? – и единогласный ответ школьников: Гришка Отрепьев!».

¹²² Первая книжка «Острова» оказалась и последней: выкупить из типографии вторую у «островитян» просто не хватило средств. Отдельные экземпляры не увидевшего свет тиража сохранились в коллекциях библиографических редкостей.

XII

В Коктебеле у Волошина. У Ахматовой в Одессе. Свадьба Дмитрия Гумилева. Перемена факультета. В редакции на Мойке. «Общество ревнителей художественного слова». Черубина де Габриак. Первые номера «Аполлона». «Письма о русской поэзии». Надежда Войтинская. Возвращение Елизаветы Дмитриевой. «Ангел-чертовка». Вызов на дуэль.

«В мае мы вместе поехали в Коктебель, – пишет Елизавета Дмитриева. – Все путешествие туда я помню как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени «Николай» – а он меня, как зовут меня дома, «Лиля» – «имя похоже на серебристый колокольчик». Тут многое не досказано. И то, что путешествовали из Петербурга они не одни, а в компании с подругой Дмитриевой Майей Звягинцевой и со Звягинцевым-отцом (а в Москве к ним присоединилась другая подруга – Марго Грюнвальд). И то, что, отправляясь, Дмитриева почему-то письмом предупредила Волошина о *напроехавшемся* к ней в спутники Гумилеве («но т. к. мне нездоровится, то пусть»). Помимо этого, сама Дмитриева не скрывает, что в момент отбытия в Коктебель «была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви»¹²³. Впрочем, по ее словам, в те минуты, когда она была с Гумилевым, она «ни о чем не помнила». В Москве, пересаживаясь на крымский экспресс, оба производили впечатление безоблачной молодой четы (умиленный Брюсов, встретивший их в «Славянском базаре», приказал ученику немедленно осчастливить трогательную спутницу каким-нибудь подарком у букиниста). Чувствовал ли Гумилев по пути в Крым всю эту тьму разнообразных интриг – неизвестно.

Маленький поселок Коктебель, находящийся в пятнадцати верстах от Феодосии, на другой стороне бухты, близ скалистой гряды Карадаг (чудесным образом повторяющей своими очертаниями профиль Волошина), являл собой безрадостную картину нищей южной рыбацкой деревни, совсем не похожей на величественные ансамбли военного Севастополя с пригородами или на открытки с видами императорской курортной Ялты. Огромный волошинский дом возвышался над избушками, придвинутый к самому побережью; с оградой, пристройками, лоджиями и длинной нештукатуренной апсидой с огромными витражными окнами, он напоминал виллу средневековых итальянских магнатов – Борджа или Медичи. Казалось, небеса были разверсты и над домом, и над его хозяином, преобразившимся после Петербурга в древнего эллина, голоногого, в грубой холщовой хламиде и цветочном венке. Вдруг померещилось, что не добродушный толстяк Волошин, а сам таинственный гроссмейстер Папюс, улыбаясь, раскрывает навстречу объятья. Более того, как год назад, в парижскую осень, за волошинским порогом на Гумилева обрушились голоса и мелодии, как будто вновь иступленно запела волшебная скрипка – да так, как не пела еще никогда:

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,

¹²³ Женихом (а потом и мужем) многоликой Дмитриевой был инженер-мелиоратор В. Н. Васильев, которого она не посвящала в свои «другие жизни».

Кто изведал мальстремы и мель...

В Коктебеле царило радостно-тревожное возбуждение, словно на маскарадных съездах «ордена Неизвестных». И Волошин, и Дмитриева, и Грюнвальд, и ранее прибывшие Алексей Толстой со своей женой – художницей Софьей Дымшиц – безудержно веселились, увлекая за собой затянутого в жилет и галстук нового гостя:

Описывать не стану я
Всех этих дерзких ухищрений,
Как Макс кентавр, и я змея
Катались в облаке камней.
Как сдернул Гумилев носки
И бегал журавлем уныло,
Как женщин в хладные пески
Мы зарывали... Было мило...¹²⁴

Дмитриева, тут же нахлобучив на себя что-то вроде античной туники, увлеченно искала первобытные сердолики, которые вымывала вода на дикий пляж у стен волошинской твердыни. Ликующая, она прибежала к Гумилеву, который, затворясь в клубах табачного дыма в подлестничной клетушке, дописывал свалившуюся с неба поэму о капитанах...

Но в мире есть иные области,
Луной мучительной томимы.
Для высшей силы, высшей доблести
Они навек недостижимы...

Он оборвал чтение, оглядел замороженных слушателей.

– Почему-то в последнее время я все время думаю о том, что апостол Петр был рыбаком в нищем рубище... В блеске наших маскарадов мы следуем мимо врат рая, которые, думается, просто бедная дверь в какой-то заброшенной стене. Камни, мох – и ничего больше!

В своей прокуренной комнате он повесил иконы и долго вечерами молился. Удивленный Волошин говорил Дмитриевой:

– Это какой-то православный аскет; выбирай сама, но если ты уйдешь к Гумилеву, я буду тебя презирать...

«Выбор был уже сделан, – признавалась Дмитриева, – но Н.С. оставался для меня какой-то благоуханной алой гвоздикой. Мне казалось: хочу обоих, зачем выбор?»

Как и в Париже все завершилось знамением, доставленным почтой. Гумилев, усмехнувшись, отложил послание, потом решительно придвинул чернильницу и стал писать ответ. Но ответ так и канул, разумеется. Тогда он написал еще. «Есть шанс думать, что я заеду в Лустдорф, – сообщал он Андрею Горенко в самый разгар волошинских «китоврасьих игр». – Анна Андреевна написала мне в Коктебель, что вы все туда переезжаете, обещала выслать новый адрес, но почему-то не сделала этого. Я ответил ей в Киев заказным письмом, но ответа не получил. Сообщите хоть Вы настоящий адрес, а то я кидаю письма наудачу, и это лишает меня сил написать что-нибудь связное». Ответ с адресом пришел в тот миг, когда Дмитриева, решившись, наконец, объявила Гумилеву, что не вернется с ним в Петербург:

– Уезжайте без объяснений, прошу Вас!

¹²⁴ А. Н. Толстой «Коктебель» (1909).

Гумилев перед отъездом устроил для Волошина и его гостей показательный бой пауков-тарантулов, которые в коктейльские дни жили у него в картонных коробках. Подравшись власть, пауки разбежались.

– Желаю здравствовать!

В тот же день он был в Одессе, откуда до немецкой пригородной колонии Лустдорф была протянута ветка трамвая. «Сестра» встретила его на остановке. На этот раз он и не обмолвился о своей влюбленности, был весел, рассказывал об «Аполлоне» и читал свои новые стихи.

– Ну, мне пора. Нужно в Петербург, брат венчается, а я у него на свадьбе, как положено, шафер.

В обратном трамвае в Одессу Гумилев и Ахматова ехали вместе.

– Вы совсем не любите меня? – спросил он у Ахматовой, прощаясь.

– Не люблю, – задумчиво ответила она, – *но считаю Вас великим человеком.*

– Как Будда или как Магомет? – улыбнулся Гумилев.

Свадьба ротного командира 147 Самарского пехотного полка подпоручика Дмитрия Гумилева состоялась в Царском Селе 5 июля 1909 года. Невестой была Анна Андреевна Фрейганг¹²⁵. Много лет спустя А. А. Гумилева-Фрейганг оставила яркие мемуары о семье мужа и о его младшем брате. В частности, касаясь первых месяцев своего пребывания в доме Гумилевых, она упоминает о полной поглощенности деверя литературными делами и о постоянных конфликтах его со свекром: «Коля тогда весь отдался своему творчеству. Он сблизился со многими поэтами и совершенно забросил занятия в университете. Это вызвало сильное недовольство отца, который упорно требовал, чтобы он закончил университет, и этот спор обычно кончался тем, что Коля обнимал отца, обещая серьезно взяться за занятия и окончить университет». В конце августа 1909 г. Гумилев и в самом деле перевелся с невозможного юридического на более близкий ему историко-филологический факультет Петербургского университета, но «серьезно взяться за занятия» не получилось. Работа по созданию «Аполлона» шла полным ходом. Оставшиеся летние недели Гумилев провел на «башне» Иванова или в «Аполлоне» на Мойке. Здесь помимо издательских собраний с сентября возобновились заседания «Академии Стиха», которая теперь получила официальный статус «Общества ревнителей художественного слова при журнале «Аполлон». «В сущности, – замечал Маковский, – это общество и создало тот литературный фон, на котором разросся журнал. Учреждение такого общества вовсе не было делом простым в то время – усмирения Столыпиным «первой» революции. Тут пригодились мои связи в бюрократическом мире. Мы отправились втроем в градоначальство: Анненский, Вячеслав Иванов и я. Все было улажено в несколько минут. Тотчас начались поэтические собрания Общества, уже в редакции «Аполлона», и на них успел выступить несколько раз с блеском Иннокентий Анненский». Все складывалось удачно, даже столь желательная для старта журнала сенсация в самый разгар работы над первым номером вдруг замаячила на горизонте. В редакцию поступила запечатанная гербом с девизом «*Vae victis!*»¹²⁶ корреспонденция от неизвестной поэтессы, подписавшейся одной буквой «Ч». Звучные стихи, написанные необыкновенно изящным почерком на бумаге с траурным обрезом, благоухающей ароматом пряных духов, с классическим благородством и изысканной простотой рассказывали о роковой участи героини, томимой среди горячих молитв мучительными искушениями и греховными соблазнами:

¹²⁵ А. А. Фрейганг происходила из семьи потомственных дворян Витебской губернии, владевших именем Крыжугы близ Режицы (современный г. Резекне (Латвия)). Работ, выявляющих родственные связи невестки Гумилева, нет, хотя в XIX веке эту фамилию носили несколько лиц, достаточно известных в российской истории, – достаточно вспомнить военного коменданта Петергофа генерала от инфантерии А. В. Фрейганга, занимавшего эту должность четверть века.

¹²⁶ Горе побежденным! (лат.)

И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклятый круг,
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя *Черубины*.

На Маковского изящное послание произвело сильное действие. Он даже попенял только что вернувшимся из Крыма Волошину и Алексею Толстому:

– Вот видите, я всегда вам говорил, что вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи! Такие сорудники для «Аполлона» необходимы!

Вскоре незнакомка телефонировала Маковскому, и тот был очарован беседой. Юную поэтессу-аристократку звали Черубиной Георгиевной де Габриак, она была дочерью провансальского графа и русской дворянки, воспитывалась до совершеннолетия в испанском католическом монастыре, а оказавшись в России, жила уединенно. Маковский настаивал на встрече, Черубина отвечала уклончиво. Весь сентябрь и октябрь она так и оставалась неуловима, присылала новые стихи, телефонировала, назначала свидания, но не приходила на них (хотя Маковскому казалось, что он видел вдали печальную тонкую женскую фигуру в трауре). Редактор «Аполлона» был заинтригован и влюблен. Кроме того, им двигал опыт профессионала. Таинственную Черубину де Габриак Маковский решил сделать главным «открытием сезона» и поручил Волошину написать для журнала статью, представляющую читателям новую поэтическую звезду. Волошин подхватил идею с энтузиазмом и тут же принялся писать «Гороскоп Черубины де Габриак». А все «аполлоновцы» наперебой обсуждали столь неожиданное явление примадонны, жадно ловили отрывочные слухи о ней, являвшиеся через вторые и третьи руки. Религиозная аристократка, похоже, и в самом деле жила в добровольном затворе и не зналась с богемой. Один Иннокентий Анненский скептически вчитывался в каллиграфически начертанные строки:

– Нет, воля ваша, что-то в ней не то. Нечистое это дело. Я боюсь этой инфанты, этого папоротника, этой черной склоненной фигуры с веером около исповедальни. ***Если является попытка ввести в самую поэзию то, что заведомо не поэзия, – это уже поэтическое декадентство, темные чары, враждебные Аполлону, но любезные Дионису.***

Гумилев, появляясь на Мойке, охотно принимал участие в захватывающих беседах и даже торжественно поклялся первым обнаружить неуловимую Черубину и, разумеется, покорить ее сердце. Но исполнять клятву он не спешил – за неимением времени. Для стартовой книжки «Аполлона» он написал большой критический обзор, помещенный в разделе «*Письма о русской поэзии*», и готовил теперь новый.

Первый номер «Аполлона» вышел 25 октября 1909 года. В редакции на Мойке была устроен прием и открытие художественной выставки, а в ресторане «Pivato» состоялся банкет, на котором присутствовал весь петербургский литературный, художественный и театральный свет. «Аполлон» возник, когда уже закрылось московское «Золотое Руно» Рябушинского, а «Весы» доживали последние дни. В речи новых оракулов – Маковского и Анненского – вчитывались потому с особенным вниманием, а гумилевские «Письма о русской поэзии» даже вызвали переполох. Критические обзоры получились острыми, ироничными и непримиримыми. За спиной Гумилева выросла недовольный ропот: двадцатитрехлетний юнец брал на себя слишком много! На одном из заседаний «Общества ревнителей...» на Гумилева внезапно обрушился Максимилиан Волошин, обвинив новоявленного литературного арбитра в невежестве и снобизме. С Волошиным был солидарен ветеран «борьбы за идеализм» в русском искусстве Аким Волынский:

– Под флагом «Аполлона» я вижу пока, если выключить имена художников, дешевое литературное донкихотство на случайно заданную тему и ни капли чистого вдохновения!

Конечно, Волошина и Волынского раздражал не столько задиристый мальчишка Гумилев, сколько «почтеннейший» Иннокентий Анненский, достигший такой власти над умами всей «молодой редакции». Но Маковский стоял за Анненского и Гумилева горой. Уязвленный Волошин затих, а Волынский, кипя гневом, демонстративно покинул «Аполлон». Было ясно, что предстоят какие-то новые схватки и интриги – возвышение во влиятельном столичном журнале мало кому известного царскосельского «*поэта Н.И. К-то*»¹²⁷ и боевое усердие его ученика, окруженного компанией по-хозяйски рассеявшихся в редакции наглых юнцов, задевало многих литераторов «с именами». Масла в этот огонь писательских самолюбий добавил и появившийся во второй книжке «Аполлона» великолепный графический портрет Гумилева, выполненный по заказу Маковского молодой художницей Надеждой Войтинской. Главный редактор, желая познакомить читателей с постоянными авторами «в лицо», планировал помещать в первый год издания по одной такой графике в каждом номере: вслед за Гумилевым для Войтинской позировали Ауслендер, Кузмин, Волошин, художники Мстислав Добужинский и Александр Бенуа, критик Корней Чуковский и «декадентская мадонна» Зинаида Николаевна Гиппиус, добрая знакомая Маковского со времен «Мира Искусства». Однако первая же графика-вклейка с Гумилевым породила такой всплеск негодования, что Маковский от затеи отказался, поссорившись в итоге с разочарованной портретисткой¹²⁸.

Исполняя завет Пушкина, Гумилев равнодушно относился и к похвалам, и к клевете. К тому же после нескольких сеансов у Войтинской он оказался на время востребован миловидной юной художницей в качестве поклонника, «проповедовавшего кодекс средневековой рыцарственности» («Ни капли увлечения, ни с его, ни с моей стороны, но он инсценировал со своей стороны поклонение и увлечение. Это была чистейшая игра»). Снова возникла и Елизавета Дмитриева, вернувшаяся из Коктебеля к началу учебного года, чтобы скромно приступить к занятиям в подготовительных классах своей гимназии. Вела она себя так, как будто летней размолвки с Гумилевым и не было вовсе – радовалась встречам, все чувствовала, все понимала, все прощала. Уроков у нее было много, оплачивались они скудно. Выкроив свободный час, Дмитриева появлялась то на редакционных собраниях на Мойке, то на «башне», где Гумилев с «аполлоновцами» помогал готовить для публикации конспективные записи прошлогодних лекций Иванова по теории стиха. Падчерица Иванова Вера Шварсалон и Михаил Кузмин, примирившийся с хозяином «башни» и вновь обосновавшийся на Таврической улице, мешали работе, спрашивали про путешествия и египетские чудеса. Гумилев, рассказывая об Африке, так увлекся, что на несколько вечеров образовал вокруг себя целое «геософическое общество». Тут спорили о таинственных древних святынях черного континента, и Гумилев уже звал Иванова и Кузмина совершить совместное паломничество в глубину Египта и далее – в Абиссинскую Империю, легендарную землю библейской царицы Савской. Идея была тем привлекательней, что общую поездку на юг завсегда ям «башни» сулил и Петр Потемкин. Его друг, киевлянин Владимир Эльснер, готовил большой вечер современного искусства, «гвоздем» которого должны были стать петербургские поэты.

¹²⁷ Псевдонимом *Н. И. К-то* (т. е. «Никто») была подписана единственная прижизненная книга стихов И. Ф. Анненского «Тихие песни».

¹²⁸ Из 24 заказанных литографий Н. С. Войтинская выполнила 8, а гонорар получила лишь за портрет Гумилева. После этой истории оскорбленная Войтинская вовсе забросила литографию, а с 1917 года и живопись. В советские годы она преподавала рисование и иностранные языки в школе, писала научно-популярные книги по истории и искусствоведению, переводила с немецкого и английского (в том числе – «Рассказы о Шерлоке Холмсе» и «Баскервильскую собаку» А.-К. Дойла), а в последние годы перед выходом на пенсию возглавляла кафедру иностранных языков во Всесоюзном заочном лесотехническом институте. За год до смерти она узнала, что ее «аполлоновские» портреты в составе коллекции А. Н. Бенуа хранятся в Русском музее. В настоящее время литографии Войтинской – признанные шедевры психологического портрета XX века.

– А из Киева, – убеждал Гумилев, – рукой подать до Одессы. Неделя не пройдет, как все мы будем в Александрии...

Иванов воспламенялся, потом трезвел и скептически качал головой:

– Я болен, оцеплен делами и беден, очень беден деньгами. Какая там Африка! Да и в Киев, наверное, не поеду.

В начале ноября на устах у всех «аполлоновцев» вновь оказалась Черубина де Габриак, поразившая редакцию очередными шедеврами. Внучка графини Нирод (новый слух из достоверных источников) живописала мистический оргазм (!), испытанный ей, подобно св. Терезе Авильской, перед изваянием Распятого:

Эти руки, как гибкие грозди,
Все сияют в камнях дорогих.
Но оставили острые гвозди
Чуть заметные знаки на них¹²⁹.

Но сама Черубина, так и не добравшись до редакции на Мойке, внезапно заболела воспалением легких. Голос кухни несчастной страдальцы, звонившей Маковскому, дрожал от слез. Всю ночь Черубина молилась, а на следующее утро ее нашли без сознания, в бреду, лежащей в коридоре на каменном полу возле своей комнаты. Конец мог наступить в любую минуту, и медлить с публикацией ее стихов было нельзя! Выход был только один – *снять из уже готового набора второго номера «Аполлона» подборку стихов Иннокентия Анненского и поставить вместо них стихи умирающей Черубины*.

И Маковский потерял голову. Его не остановило даже то, что отмена публикации нарушала планы Анненского по подготовке отдельного собрания своих стихов. «... Мне очень, очень досадно, что печатание расстроилось, – горько признавался старый поэт. – Ну, да не будем об этом говорить и постараемся не думать». Эскапада влюбленного редактора наделала много шума. Ужиная с Кузминым в ресторане Палкина, Гумилев не переставал возмущаться:

– Как он мог! Больную Черубину никто даже в глаза не видел, а вот что Анненский очень болен сердцем, прекрасно известно всем...

Подсевший к ним хмельной немецкий переводчик из «Аполлона» Иоганнес фон Гюнтер вдруг захохотал:

– Да нет никакой Черубины, ни больной, ни здоровой... Какая там католическая графиня! Это Лиля Дмитриева все выдумала, и стихи сама пишет, и Маковскому голову по телефону морочит.

Гумилев окаменел, а Кузмин с любопытством стал допрашивать немца. На того нашел припадок болтливой откровенности. Тайну «Черубины де Габриак» Гюнтер узнал недавно, причем при самых пикантных обстоятельствах. История Гюнтера напоминала новеллу из «Декамерона»: безнадежно влюбленный в художницу Лидию Брюллоу, он не нашел ничего лучшего, как затеять роман с Дмитриевой, ее интимной подругой...

На следующий день Гумилев, встретив Дмитриеву в редакции, потребовал объяснений, выслушал ее лепет, закричал, не помня себя от ярости и возмущения: «Вы еще меня узнаете!», – уехал в Царское и на выходные пропал. Но уже в понедельник он, спокойный и сосредоточенный, держал совет с Ивановым, Кузминым и Алексеем Толстым: что делать? Толстой сообщил, что игра в *Ангела-Чертовку* (от «херувима» и «габриаха», беса, защищающего мага от других злых духов) была затеяна Волошиным летом в Коктебеле как продолжение «китоврасьих игрищ» – уже после того, как Гумилев покинул волошинский

¹²⁹ Черубина де Габриак. «Твои руки».

дом. От имени роковой графини-католички все писали стихи; победительницей оказалась Дмитриева. Эти же стихи несколько недель спустя Толстой услышал от Маковского в редакции «Аполлона», но, по просьбе Волошина, помалкивал. Но мистификация зашла слишком далеко. Дмитриева, талант которой в призрачном обличье Черубины за несколько месяцев невероятно вырос, и в самом деле превратилась в беса-габриаха, расчищающего магу-Волошину дорогу к высотам в «Аполлоне».

И тут не выдержал Михаил Кузмин:

– Действительно, история грязная. Любовница и Гумми, и еще кого-то, и теперь Гюнтера, креатура Макса Волошина, пугающая бедного Мако, рядом Гюнтер и Макс... Компания почтенная!

Он взялся рассказать Маковскому о мистификации и рассеять ложь и клевету, которая возникла из-за нее. Вопрос был уже решен, как вдруг на «башне» оказался Гюнтер, вызвавший Гумилева на конфиденцию:

– Ты должен жениться!

– На ком?

– На Дмитриевой! Ты должен жениться на поэтессе, только настоящая поэтесса может тебя понять и вместе с тобой стать великой. Кроме того, она великолепная женщина, а ты и без того обещал жениться на ней.

«Он как будто бы согласился с моим предложением, – вспоминал Гюнтер. – Втайне я торжествовал, так как объяснение должно было произойти у ее подруги, обольстительной Лидии Брюлловой, и после их несомненного примирения мы образовали бы две пары. Я приложил старание ускорить встречу... Мы отправились. Они нас ожидали. На Дмитриевой было темно-зеленое бархатное платье, которое к ней шло. Она находилась в состоянии крайнего возбуждения, на лице горели красные пятна. Изящно накрытый стол, казалось, тоже ожидал примирения. Лидия Брюллова в черном шелковом платье приветствовала нас как очаровательная хозяйка дома. Но что случилось? С небрежным и даже заносчивым видом Гумилев приблизился к обеим дамам.

– Мадемуазель, – начал он презрительно, даже не поздоровавшись, – вы распространяете ложь, будто я собирался на вас жениться. Вы были моей любовницей. На таких не женятся. Вот что я хотел вам сказать.

Презрительно-снисходительный кивок. Он повернулся к обеим спиной и ушел. Я был совершенно ошеломлен его неожиданной грубостью, но мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним... Я был в ярости. Он меня безгранично разочаровал. С усмешкой он заявил, что так уж положено! С подобными женщинами следует именно так держаться. Я покачал головой.

– Это варварство! Ты глубоко оскорбил ее в присутствии постороннего человека. *Она будет мстить».*

Мечь «Черубины де Габриак» не заставила себя долго ждать и была еще более безобразной, чем история с Анненским. На следующий день в Мариинском театре, в мастерской художника Головина, который собирался писать коллективный портрет сотрудников редакции «Аполлона», Максимилиан Волошин бросился на Гумилева и ударил по лицу. Гумилев тут же попросил Кузмина быть его секундантом. Вторым секундантом вызвался стать писатель-шахматист Зноско-Боровский. Со стороны Волошина секундантами были назначены Алексей Толстой и художник Шервашидзе¹³⁰. «Макс все вилял, вел себя очень подозрительно и противно, – записывал 21 ноября в дневнике Кузмин. – С Шервашидзе вчетвером пообедали и выработывали условия. Долго спорили... У нас уже сидел окруженный трагической неж-

¹³⁰ А. К. Шервашидзе-Чачба (1867–1968) – художник-сценграф, работавший в мастерской Головина и публиковавшийся в «Аполлоне».

ностью «башни» Коля. Он спокоен и трогателен. Пришел Сережа [Ауслендер] и ненужный Гюнтер, объявивший, что он всецело на Колиной стороне. Но мы их скоро спровадили».

Дуэль была назначена на шесть часов утра. Гумилев завершал письмо к Ахматовой:

– **Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к Вам!**

«Решили не ложиться, – записывал Кузмин. – Я переоделся, надел высокие сапоги, старое платье. Коля спал немного. Встал спокойно, молился».

XIII

Дуэль Гумилева и Волошина. Газетная шумиха. Литературный вечер в Киеве. Объяснение с Ахматовой. Первое путешествие в Абиссинию. Возвращение в Россию. Смерть С. Я. Гумилева. История кончины Иннокентия Анненского и финал «черубинианы».

Ранним утром 22 ноября 1909 года все участники дуэли собрались на заболоченной поляне у перелесков Старой Деревни, удаленного местечка, имевшего дурную «дуэльную славу» еще с прошлого века. Неподалеку, за Черной речкой, находилась Комендантская дача, у которой в январе 1837-го Пушкин был смертельно ранен на поединке с кавалергардом Жоржем Дантесом. «Выехав за город, – вспоминал Алексей Толстой, – мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый во мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, взял пистолет, и тогда только я заметил, что он не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на Волошина, стоявшего, расставив ноги, без шапки.

Передав второй пистолет Волошину, я, по правилам, в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: раз, два... (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов.) ... три! – крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешеным: «Я требую, чтобы этот господин стрелял». Волошин проговорил в волнении: «У меня была осечка». «Пуускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Гумилев, – я требую этого...» Волошин поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. «Я требую третьего выстрела», – упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям».

Дуэль, хотя и безрезультатная, получила большую огласку. Стрелялись гражданские, которым, в отличие от военных лиц, вооруженные противоборства были запрещены законом. К Шервашидзе уже на следующее утро явился квартальный надзиратель. Были выяснены имена всех участников и допрошены шоферы такси, доставлявшие их в Старую Деревню. К тому же участники поединка были модными литераторами. Данные расследования оказались в руках газетчиков, и те ухватились за потерянную кем-то галошу, обнаруженную полицией при осмотре места происшествия:

Жили-были два писателя, два поэта, два критика и вдруг воспылали друг к другу ненавистью лютой, непримиримой. Тесно им стало жить на белом свете, и решили, что надо им друг друга истребить.

– Ради Бога, что вы делаете? – умоляли их друзья-приятели. – На кого вы литературу русскую оставляете. Осиротеет она, бедная. Подумать только: варварский обычай дуэли уже

лишил русскую литературу Пушкина и Лермонтова, а теперь, пожалуй, останется литература русская и без Волошина и Гумилева. – Но писатели и слышать не хотели...

... Когда дым рассеялся, на снегу вместо двух поэтов осталась одна только галоша.

Над поэтами-дуэлянтами радостно зубоскалили «Вечерний Петербург», «Новая Русь», «Газета-копейка», «Русское слово», «Утро России», «Одесские новости», «Киевская мысль» и другие столичные и провинциальные издания, именуя Волошина – «Марком», а Гумилева – «Гумилевичем-Немезером», сообщая душераздирающие подробности (вроде стрельбы с двух метров в упор) и на все лады склоняя Пушкина, Черную речку и злополучную галошу. Всероссийская шумиха, неожиданно поднятая вокруг поединка, не улеглась до конца месяца, когда Потемкин привез Гумилева, Кузмина и Алексея Толстого к Владимиру Эльснеру в Киев. Оказалось, что обстановка тут накалена до предела. Купеческое городское собрание, предоставлявшее «Вечеру современной поэзии» свою залу, теперь наотрез отказывалось принимать «декадентов-дуэлянтов». Правда, Эльснера выручил Малый театр Крамского, но, полагая, что скандальным петербуржцам не избежать обструкции, свое согласие выступать отозвали некоторые из заявленных ранее участников. Собравшаяся 29 ноября 1909 года аудитория была настроена большей частью агрессивно, причем главной жертвой был избран, разумеется, Гумилев. Явной обструкции не было, но публика, как потом говорилось в газетных отчетах, воспринимала звучащие с эстрады стихи *«иронически»*. Вокруг раздавались смешки и покашливания, и Гумилев, представляя новую поэму «Сон Адама», не декламировал, а выпевал строфы полным голосом, повышая тон по мере развития рассказа о библейском Первом Человеке, взыскующем утраченный рай:

Устанет и к небу возводит свой взор,
Слепой и кощунственный взор человека:
Там, Богом раскинут от века до века,
Мерцает над ним многозвездный шатер.
Святыми ночами, спокойный и строгий,
Он клонит колена и грезит о Боге.

Этот непривычный речитатив, упрямо звучащий со сцены, увлекал, так что Гумилеву без особых помех удалось довести поэму до финала:

И Ева кричит из весеннего сада:
«Ты спал и проснулся... Я рада, я рада!».

Только тут самые непримиримые, спохватившись, ответили глумливым эхом: *«Мы тоже проснулись, мы рады, мы рады!..»*. Менее непримиримые, пожав плечами, промолчали. Благодушные же из вежливости хлопнули несколько раз в ладоши и потянулись к выходу. В стремительно пустеющем театральном зале оставалась неподвижно сидеть Ахматова. Когда все разошлись, она встретила у артистического выхода измученного выступлением Гумилева и повела его пить кофе в ресторан гостиницы «Европейская». Письмо Гумилева Ахматовой получила, и, по ее словам, сделанное там признание *«показалось убедительным»*:

– Я согласна стать Вашей женой.

На следующий день петербургские поэты покидали Киев. Кузмин, Толстой и Потемкин возвращались в Петербург. А Гумилев, потрясенный событиями последней недели, отправился в Одессу, чтобы оттуда следовать средиземноморским маршрутом в Египет. Африканское паломничество он непременно решил совершить, хотя бы и в одиночку. Счастливое

киевское свидание в «Европейской» мгновенно вытеснило из его памяти все осенние кошмары и далекий путь, паче чаянья, был весел, как никогда. Во время стоянки парохода в афинском Пирее Гумилев возликовал до того, что вообразил себя новым Одиссеем-странником, избавленным от напастей волшебной помощью Афины Паллады, специально поехал в Акрополь к Парфенону¹³¹ и от переизбытка чувств оставил в мраморных руинах золотую монету. За несколько дней он настолько отдохнул и окреп физически и морально, что, едва достигнув Каира и совершив ритуальную вечернюю прогулку по желанному *Эзбекие*, начал подумывать вернуться в Александрию и сесть на пароход в Одессу. Однако вместо Александрии Гумилев отправился поездом в Порт-Саид и взял билет на рейс до Джибути, морских ворот в Абиссинию. «Завтра еду в глубь страны, по направлению к Адис-Абебе¹³², столице <императора> Менелика, – писал он оттуда Брюсову в православный сочельник 24 декабря 1909 г. (6 января 1910 г.). – По дороге буду охотиться. Здесь уже есть все, до львов и слонов включительно. Солнце палит немилосердно, негры голые. Настоящая Африка. Пишу стихи, но мало. Глупею по мере того, как чернею, а чернею я с каждым часом. Но впечатлений масса. Хватит на две книги стихов. Если меня не съедят, я вернусь в конце января».

Абиссиния в момент появления там Гумилева представляла собой обширную африканскую империю, земли которой простирались от бассейна Верхнего Нила до побережий Красного и Аравийского морей и лесов Центральной Африки. Эта страна была похожа на огромную крепость на скале, пологой с запада и крутой с востока, возвышающейся террасами и прорезанной долинами рек. На вершинах горной цитадели располагались земли метрополии – Амхары на севере, Тигрэ на северо-западе и Шоа в центральной части. Внизу же, по склонам нагорья, жили многочисленные вассальные племена, среди которых выделялись воинственные мусульмане-галласы, населяющие восточные области, где властным центром был город Харрар.

История Абиссинии восходила ко временам Великого Потопа, ибо основателем Аксума, первого из городов-крепостей на Абиссинском нагорье, считался внук Ноя – Арам. Наследницей его и была знаменитая Хазнеб, царица Савская, которая побывала в Иерусалиме, испытывала загадками царя Соломона, уверовала и принесла великие дары для строительства Храма. Предание гласило о любви Соломона и Савской, сын которых сел царем в Аксуме, став основателем династии черных императоров-соломонидов. Сюда, согласно многочисленным легендам, был перенесен исчезнувший из Иерусалима Ковчег Завета – то ли уже во времена Савской, то ли в царствование нечестивого израильского царя Манассии, то ли перед разрушением города вавилонским владыкой Навуходоносором¹³³.

Во второй половине XIX века, после открытия Суэцкого канала и последующего оживления судоходства в Красном море, Абиссиния оказалась в центре стратегических интересов великих европейских держав¹³⁴. Упомянутый Гумилевым абиссинский император Менелик II пытался наладить прочные связи с Францией, Англией и «единоверной Россией»¹³⁵. Во

¹³¹ Знаменитый храм афинского Акрополя посвящен богине Девственнице (#θην# Παρθένος).

¹³² Здесь и далее все амхарские слова приводятся в транскрипции, которую использовал Гумилев. В современной языковой норме она несколько другая: «Аддис-Абеба», «Харэр» и т. д.

¹³³ Согласно иудейской Устной Торе (незаписанному преданию), Ковчег Завета со Скрижалями Закона, хранившийся на Краеугольном Камне в Святой Святынь Первого Храма, во время пленения Иерусалима вавилонянами был скрыт сверхъестественным образом, сам собой погрузившись в глубь Храмовой Горы, где и пребывает до времени постройки Третьего Храма.

¹³⁴ Еще в 1888–1889 гг. терский казак Николай Ашинов и архимандрит Паисий пытались (безуспешно) основать на абиссинском берегу Красного моря «Московскую станицу», которая могла бы стать в дальнейшем угольной базой для проходящих по Суэцкому каналу российских пароходов.

¹³⁵ Жители абиссинской метрополии исповедовали т. н. коптское (египетское) христианство, близость которого греко-российскому православию сомнительна. Однако во второй половине XIX столетия провозглашенное Синодом «единоверие» было важным идейно-политическим фактором в российской политике в Северо-Восточной Африке. Гумилев упоминает

время победоносной войны Менелика против колонизаторов-итальянцев русский санитарный отряд находился в составе абиссинской армии. А по завершении боевых действий в только что отстроенную имперскую столицу Адис-Абебу (Новую Розу), торжественно прибыла в 1898 г. российская дипломатическая миссия, первая в Черной Африке. Русские военные, специалисты и ученые принимались при дворе просвещенного абиссинского монарха и становились его доверенными лицами. Но, путешествуя самодеятельным туристом на «аполлоновские» гонорары, Гумилев не мог долго задержаться в удивительной стране, и «Новая Роза» на далеком нагорье так и осталась для него недоступной мечтой. Примкнув к торговому каравану в порту Джибути, он преодолел вместе с купцами и погонщиками около трехсот верст до Харрара, осмотрел в несколько дней этот средневековый мусульманский город, совершил охотничью вылазку в окрестности, встретил «русский» Новый год и начал собираться с другим караваном в обратный путь на побережье. «Я в ужасном виде, – писал Гумилев Михаилу Кузмину, – платье мое изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета, левый глаз воспален от солнца, нога болит, потому что упавший на горном перевале мул придавил ее своим телом. Но я махнул рукой на все. Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжелый для тела, другой восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о последнем и забываю о первом».

В начале февраля 1910 года он был уже в Киеве, где обсуждал с Ахматовой будущую помолвку. Однако финал этой браваурной и победительной поездки оказался очень печальным. Сразу после возвращения младшего сына в Царское Село, 6 февраля Степан Яковлевич Гумилев, жаловавшийся с утра на какие-то kloкотания в груди, тихо, без звука, отошел в своем кабинете, пока Анна Ивановна, ожидая вызванного доктора, читала в гостиной очередной французский роман. Доктор обнаружил на диване в кабинете уже остывающее тело.

Смерть отца совпала для Гумилева с известием о другой кончине, случившейся два месяца назад, 30 ноября 1909 года, в тот момент, когда он, ликующий, отправлялся с киевского перрона навстречу абиссинским чудесам. Иннокентий Анненский, позабыв случайно дома сердечные капли, умер на петербургском Царскосельском вокзале от мгновенного приступа. Тело перенесли в близкую Обуховскую больницу, где бывшего инспектора Петербургского учебного округа вскоре опознали. «Мы хоронили его на Казанском кладбище Царского Села, – вспоминал Маковский, – отпевание вышло неожиданно многолюдным, его любила учащаяся молодежь, собор был битком набит учениками и ученицами всех возрастов. Чувствовалось, что ушел человек незабываемый. В полях был серый, тающий снег, были нищие ветки берез на мгlistом небе. Катафалк с дубовым гробом жалко подпрыгивал на ухабах. Было невероятно сознание: Анненский мертв... Он лежал в гробу торжественный, официальный, в генеральском сюртуке Министерства народного просвещения».

Оказавшись в редакции «Аполлона», Гумилев узнал подробности этой смерти, ставшей мрачным эпилогом истории призрачной «черной инфанты» Черубины де Габриак. На похоронах все обратили внимание на странное поведение Максимилиана Волошина – тот хихикал, ерничал и строил догадки, как удивляется сейчас покойный «в новой обстановке»:

– Люди, умирающие скоропостижно (как Иннокентий Федорович), не успевши приготовиться к иному существованию в другом измерении, бесконечно изумлены в первое время, что все вокруг них словно так, да не так... Положение трудное. Многие от неожиданности, догадавшись внезапно, что они – мертвые, сходят с ума...

«Волошин это «сходят с ума» произнес особенно улыбчивым голосом, – рассказывал Маковский, – и меня отшатнуло от него в эту минуту, он показался мне другим каким-то: или не совсем нормальным, или уж очень бессердечно-умствующим философом, смакующим приключения своей фантазии даже перед гробом друга, только что опущенным в могилу.

Иначе говоря – эстетом невысокого уровня...» Смерть Анненского «отшатнула» от Волошина и других «аполлоновцев», и теперь главный защитник Черубины де Габриак, являясь в редакцию на Мойке, встречал, по выражению Маковского, «общую холодность». Литературная интрига, в самом деле, зашла *слишком далеко*... За день до возвращения Гумилева Волошин уехал из Петербурга в Феодосию, чтобы, как он говорил знакомым, «закрыться в Коктебеле».

Под впечатлением от всего происшедшего Маковский решил прибегнуть к совету, данному ему недавно Михаилом Кузминым, и сам позвонил по рассекреченному «телефону Черубины». Теперь он беседовал с «графиней» сухо и деловито:

– Заезжайте-ка ко мне. Хоть сейчас. За чашкой чаю обо всем и потолкуем... Теперь время – поставить точки на *i* и разойтись à l'amicable¹³⁶.

Среди «аполлоновцев» *rárá* Макó никогда не замечал невзрачную Дмитриеву и теперь горько прощался со своей романтической мечтой о провансальской поэтессе-аристократке. «Она была на редкость некрасива, – признавался он. – Или это представилось мне так по сравнению с тем образом красоты, что я выносил за эти месяцы? Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность, вступала в свои права неумолимая, чудовищная, стыдная действительность. И сделалось до слез противно, и вместе с тем жаль было до слез ее, Черубину».

– О том, как жестоко искупаю я обман – один Бог ведает, – торопливо говорила Дмитриева. – Сегодня, с минуты, когда я услышала от Вас, что все открылось, с этой минуты я навсегда потеряла себя: умерла та единственная, выдуманная мною «я», которая позволяла мне в течение нескольких месяцев чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Черубину, я похоронила себя и никогда не воскресну...¹³⁷.

Появившись в «Аполлоне» в начале февраля 1910 года, Гумилев уже не застал никаких отголосков странных событий, так больно задевших его минувшей осенью. Только Валентин Анненский-Кривич попросил Гумилева держать вместе корректуру готовящегося в издательстве «Гриф» собрания стихов покойного отца – «*Кипарисовый ларец*». Из-за истории с сорванной по воле Черубины журнальной публикацией Иннокентий Анненский не дождался выхода своей итоговой книги. А статского советника Степана Яковлевича Гумилева похоронили в феврале на Кузьминском кладбище в окрестностях Царского Села. Кончины в семье ожидали уже несколько месяцев, когда и без того лежащий больной стал безнадежно сдавать. Это притупило боль от утраты, и траур в доме не выдерживался строго. Гумилев, к неудовольствию Анны Ивановны, вскоре занял опустевший кабинет отца и по ночам бодрствовал – домашние, засыпая, слышали за дверью равномерные шаги и чтение вполголоса. Брат Дмитрий обычно ворчал: «Опять наш Коля улетел в свой волшебный мир». Но Гумилеву было не до романтических мечтаний: близился срок, когда в Петербург должна была приехать Ахматова, и он не знал, отменять ли письмом ее поездку, а если не отменять – как приступить к матери с объяснением о грядущей помолвке. В конце концов, он положился на судьбу, предоставив событиям течь по их собственному произволению.

¹³⁶ Полюбовно (*фр.*).

¹³⁷ О том, что «Черубина уже умерла», Дмитриева писала А. М. Петровой 29 декабря 1909 г. В этом же письме она сообщила, что Волошин «в конце января поедет в Феодосию, чтобы поселиться в ней безвыездно. У него здесь отвратительные отношения со всей «литературой», работать не может, надо ему тишь... Да и мы с ним за несколько месяцев в разлуке лучше разберемся». После отъезда Волошина Дмитриева пережила глубокий духовный и творческий кризис и порвала с прошлым. Прощальная подборка стихов «Черубины де Габриак» была опубликована в № 10 «Аполлона» за 1910 год. В мае 1911 г. Дмитриева вышла замуж за своего давнего поклонника В. Н. Васильева. До конца дней (†1928) она продолжала заниматься литературой, однако превзойти своего призрачного двойника «Черубину де Габриак» ей так и не удалось.

XIV

Масленица 1910 года. С Ахматовой в Петербурге и Царском Селе. «Кипарисовый ларец». Неудачные «смотрины». В Окуловке у Ауслендера. Дискуссия о символизме. «Жемчуга». Красная Горка. Венчание Гумилева и Ахматовой.

В России, жившей в начале XX века по православному календарю, праздник Масленицы, предвещающий Великий пост, считался временем смотрин. Масленичные визиты «к теще на блины» делались с расчетом на то, чтобы после Великого Поста, на *Красную Горку* (Фомино воскресенье, первое после пасхального), молодые могли бы сыграть свадьбу. К сватовству и представлению молодых в роднящихся семействах, так или иначе, сводились все народные масленичные обряды:

Отдавала меня мать
Во великую семью,
Во великую семью —
В несогласную.

На масляную седмицу, пришедшуюся в 1910 году на последнюю неделю февраля, в Петербург из Киева приехала Ахматова. Как и полтора года назад, она остановилась у отца на улице Жуковского. Туда 25 февраля Гумилев, уже в качестве жениха, сделал визит, и они гуляли по Невскому, завернув в конце прогулки на Михайловскую площадь в Русский музей. Это посещение художественной галереи, хорошо знакомой ей с детства, стало памятной вехой в жизни Ахматовой: «Стихи я писала с одиннадцати лет совершенно независимо от Николая Степановича. Пока они были плохи, он, со свойственной ему неподкупностью и прямоотой, говорил мне это. Затем случилось следующее: я прочла (в брюлловском зале Русского музея) корректуру «Кипарисового ларца»... и что-то поняла в поэзии». По всей вероятности, демонстрация корректуры посмертного сборника Иннокентия Анненского, которую Гумилев в эти дни все время таскал с собой, как раз и явилась аргументом в пользу ничтожества только что прочитанных стихов Ахматовой:

– Вот как надо писать!

Недовольная Ахматова присела на плюшевую скамью перед «Последним днем Помпеи» и... зачиталась. Забыв обо всем на свете, она тут же, не сходя с места, прочла книгу от корки до корки. «Я веду свое «начало» от стихов Анненского, – писала впоследствии она. – Его творчество, на мой взгляд, отмечено трагизмом, искренностью и художественной цельностью».

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил...¹³⁸

Можно не сомневаться, что остаток дня они провели в беседах о кончине Анненского, об «Аполлоне» и интригах Черубины де Габриах. Ахматова на всю жизнь свирепо возненавидела Дмитриеву и Волошина (что вряд ли справедливо, ибо создатели Черубины не были злодеями, сами оказавшись, в конце концов, жертвами своего же исчадия) и потребовала, чтобы намеченная на завтра ее поездка в Царское Село началась поклонением могиле Иннокентия Федоровича.

¹³⁸ Анна Ахматова. «Учитель».

Так и произошло, однако «смотрины» у Гумилевых на Бульварной прошли из рук вон плохо. Поездка Ахматовой в Царское не задалась с самого начала. Был Широкий Четверг, на загородные гуляния ехало множество петербуржцев, и Ахматова случайно оказалась в одном вагоне с неведомыми ей... Мейерхольдом, Зноско-Боровским и другими «аполлоновцами», решившими развезься и заодно навестить Гумилева. Тот, встречавший Ахматову с цветами на царскосельском вокзале, увидев невесту выходящей из поезда в компании друзей, совсем растерялся и, после замешательства, представил ее как *«знакомую из Киева»* (!), которая изъявила желание посетить могилу Иннокентия Анненского (!!). Легко представить, что, попав в дом Георгиевского, Ахматова находилась не в самом дружелюбном расположении духа. «У меня в молодости, – признавалась она, – был трудный характер, я очень отстаивала свою внутреннюю независимость, была очень избалована». С другой стороны, можно лишь догадываться, как отнеслась Анна Ивановна Гумилева к свадебным хлопотам, затеянным младшим сыном спустя две недели после отцовских похорон. Подробности «смотрины» неизвестны, однако, покидая на следующий день Петербург, Ахматова отправила своей подруге Тюльпановой красноречивую записку:

Птица моя, – сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу.

Она пыталась жаловаться и отцу, но тот печально погладил ее по голове и покивал, а потом вдруг спохватился:

– Ах, да еще... Вот, у Николая Степановича в журнале... э-э-э... «А-по-л-лон» опубликовано сочинение «Капитаны». Так ты уж ему скажи, что *«над пасмурным морем следившие румб»* – неправильно это. Моряки так не говорят. Непременно скажи, не забудь...

Станный он был человек, Андрей Антонович Горенко!

Зато в Киеве, где Ахматова сгоряча поведала домашним о несчастном визите к Гумилевым с теми самыми, неведомыми нам, *подробностями*, против «скандального брака» дружно восстали все (Инна Эразмовна Горенко и Анна Ивановна Гумилева так никогда и не встретились как сватья до конца своих дней). Между тем, в отличие от рассерженных близких, ни Ахматова, быстро остынув, ни тем более Гумилев не были склонны видеть в неудаче «смотрины» нечто большее, нежели нелепое недоразумение. Сергей Ауслендер, живший тогда у родных в Окуловке под Новгородом, вспоминает, как Великим постом 1910 года к нему нагрянул взволнованный Гумилев: «В первый раз в те дни он говорил о своей личной жизни, говорил, что хочет жениться, ждет писем. Мы просиживали с ним за разговорами до рассвета в моей комнатке с голубыми обоями. За окном блестела вода. Я тоже хотел тогда жениться, и это нас объединяло... Мы оба в это время готовились жениться как-то беспокойно. Из Окуловки Гумилев посылал запрос в Царское, есть ли письма из Киева, беспокоился, как будто не был уверен в ответе, и, получив утвердительный ответ, попросил лошадей и тут же выехал на вокзал, хотя знал, что в это время нет поезда. Я провожал его, и мы ждали на станции часа два с половиной. Он не мог сидеть, нервничал, мы ходили и курили». В *«письме из Киева»* было окончательное согласие Ахматовой на брак с Гумилевым. Оба чувствовали необходимость во взаимном союзе и интуитивно понимали, что *время пришло*:

Влюбленные, пытайте рок, и вам

Блеснет сиянье розового рая.

От *Красной Горки* 1910-го – великого дня в истории российской культуры XX века – их отделяли только оставшиеся великопостные, Страстная и Светлая, седмицы.

Эти недели оказались очень насыщенными как в духовной, так и в творческой жизни Гумилева. Едва появившись после африканского путешествия в редакции «Аполлона», он сразу был вовлечен в спор о современном состоянии русского символизма, разгоревшийся после публикации в январском номере журнала статьи Михаила Кузмина «О прекрасной

ясности». В этой статье Кузмин упрекал символистов в чрезмерной сложности их стихов и прозы:

– Пусть ваша душа будет цельна или расколота, пусть миропостижение будет мистическим, реалистическим, скептическим или даже идеалистическим (если вы до того несчастны), пусть приемы творчества будут импрессионистическими, реалистическими, натуралистическими, содержание – лирическим или фабулистическим, пусть будет настроение, впечатление – что хотите, но, умоляю, будьте логичны – да простится мне этот крик сердца! – логичны в замысле, в постройке произведения, в синтаксисе.

Вячеслав Иванов вступился за символизм:

– Символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов...

Иванов был уверен: наступает некая *высшая стадия* в истории мирового искусства, когда поэты превращаются в *теургов*¹³⁹, посланников Св. Духа, пророков «христианства последних времен». Об этой *высшей стадии* (по-гречески – «акмэ», ἄκμη) он сделал доклад «Заветы символизма» на заседании «Общества ревнителей художественного слова» 26 марта 1910 года. Доклад вызвал среди участников «молодой редакции», помнивших предостережения Анненского о недопустимости попыток «ввести в самую поэзию то, что заведомо не поэзия», большие сомнения. Гумилев не имел ничего против взаимодействия поэзии с религиозными переживаниями, но знакомый ему не понаслышке образ символиста, одержимого неземными голосами и видениями, казался скорее демоническим, чем христианским:

– Я боюсь устремлений к иным мирам, потому что не хочу выдавать читателю векселя, по которым расплачиваться буду не я, а какая-то неведомая сила.

Пророческое «новое христианство», которым Иванову виделся русский символизм, смутил и главного редактора «Аполлона».

– Вячеслав Иванович, скажите прямо: *Вы верите* в божественность Христа? – спрашивал Маковский.

– Конечно, но в пределах солнечной системы! – отвечал Иванов.

«Он в Христа верил, – вспоминал Маковский, – но не менее чистосердечно «возвышал» и богов Олимпа, и духов земли... Символы были для него не только литературным приемом, но и заклинательным орудием».

На прениях, развернувшихся в «Обществе ревнителей художественного слова» после доклада Иванова, Гумилев высказался в том духе, что поэт вряд ли вообще должен воспринимать себя *религиозным* пророком. О том, что мир полон волшебства и тайн, говорили еще французские «парнасцы», столь любимые покойным Анненским, однако ни Теофиль Готье, ни Леконт де Лиль не видели необходимости покидать пределы искусства и искать в религии дополнительное оправдание для своих чувств и переживаний. Сторонники Иванова тут же обвинили Гумилева в «*бездуховности*». Зато его неожиданно горячо поддержал Сергей Городецкий:

– Настоящий поэт не должен мудрствовать, он не философ и не богослов! Как наивный первозданный Адам, он должен лишь петь хвалу Богу-Творцу и сотворенному Им миру! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе? Боже!

Споры об *адамизме* и *акмэ* в развитии современного искусства продолжились на «башне» и после прений. Андрей Белый, гостивший у Иванова, вспоминал, что Гумилев, «в черном, изысканном фраке, с цилиндром, в перчатке; сидел, точно палка, с надменным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом и парировал видом наскоки Иванова».

¹³⁹ В древних оккультных практиках греческое слово «теургия» (θεουργία, от θεός божество и #ργία, обрядовое действие) обозначало «магическое искусство», т. е. воздействие на потусторонние силы с помощью эстетических приемов (пение, музыка, танцы и т. д.).

– Вы вот нападаете на символистов, а собственной твердой позиции у Вас нет! – горячился тот. – Ну, Борис¹⁴⁰, Николаю Степановичу сочини-ка позицию...

Эрудированный Белый, припомнив, что греческое слово *ἀκμή* означает еще и «острие», в шутку стал вещать что-то о «заостренных Адамах» или «акмеистах». Гумилев внимательно выслушал его:

– Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию – против себя: покажу уже вам «акмеизм»!

Под впечатлением от дискуссии вокруг символизма он подготовил для «Аполлона» большую статью «Жизнь стиха». «Не будучи аналогией жизни, – писал Гумилев, – искусство не имеет бытия вполне подобного нашему, не может нам доставить чувственного общения с иными реальностями». Он обвинял символистов в непонимании задач поэзии, в *нецеломуренности* попыток превратить ее в инструмент богословия. Как раз в эти же апрельские дни из Москвы пришел тираж отпечатанных в «Скорпионе» «Жемчугов», многозначительно посвященных автором – «Моему учителю Валерию Брюсову». «Жемчугами» заканчивается большой цикл моих переживаний, и теперь я весь устремлен к иному, новому, – сообщал Брюсову бывший «ученик символистов». – Каково будет это новое, мне пока не ясно, но мне кажется, что это не тот путь, по которому меня посылает Вячеслав Иванович.

Против такого вывода maître не мог возражать. Брюсов никогда не считал символизм религиозным пророчеством, а над «теургией» смеялся:

– Быть теургом, разумеется, дело очень и очень недурное. Но почему же из этого следует, что быть поэтом – дело зазорное?.. Искусство автономно: у него свой метод и свои задачи. Когда же можно будет не повторять этой истины, которую давно пора считать азбучной! Неужели после того, как искусство заставляли служить науке и общественности, теперь его будут заставлять служить религии! Дайте же ему, наконец, свободу!

Но бывший ученик уходил не только от влияния «теурга» Иванова, но и от Брюсовского понимания искусства как магического познания мира – *уходил от символизма вообще*. «Будущее, – прозорливо писал Брюсов, откликаясь на выход «Жемчугов», – явно принадлежит какому-то еще не найденному синтезу между «реализмом» и «идеализмом». Этого синтеза Н. Гумилев еще не ищет». И, действительно, пообещав сгоряча Вячеславу Иванову «акмеизм», Гумилев видел пока эту «*высшую стадию искусства*» в самых общих чертах:

– Мне верится, что можно много сделать, перейдя от тем личных к темам общечеловеческим, пусть стихийным, но под условием всегда чувствовать под своими ногами твердую почву. Но я повторяю, что мне это пока неясно...

Захватив нарядный том «Жемчугов» в виде свадебного подарка, Гумилев накануне Фомина воскресенья отправился к Ахматовой. После провала «смотрин» Анна Ивановна, избегая семейной ссоры, воздержалась от решительного объяснения с сыном и не вмешивалась в его планы. Однако, видя молчаливое неодобрение домашних, Гумилев понимал, что рассчитывать на семейное торжество, подобное прошлогодней свадьбе брата Дмитрия, ему не приходится. В Киев он приехал один. Семья невесты оказалась настроена еще хуже, чем родня жениха. Прием вышел настолько холодным, что Гумилев предпочел остановиться не у будущей тещи, проживавшей тогда с младшими детьми на Паньковской улице, и даже не у Андрея Горенко, жившего отдельно от матери на Пироговской¹⁴¹, а в гостинице «Национальной» на Крещатике. Обсуждая с Ахматовой накануне Красной Горки сложившееся положение, Гумилев принял окончательное решение: действовать *немедленно*, на свой страх и риск. Договорившись о таинстве венчания в храме левобережной Никольской сло-

¹⁴⁰ Настоящее имя Андрея Белого – Борис Николаевич Бугаев.

¹⁴¹ Гумилев, по-видимому, рассчитывал на дружескую поддержку Андрея, но тот, как и мать, был уверен, что замужество сестры заведомо обречено на неудачу. Ахматова говорила, что поведение родных «глубоко оскорбило» новобрачных. В дальнейшем общение Гумилева с Инной Эразмовной и Андреем Андреевичем Горенко носило эпизодический характер.

бодки¹⁴², Гумилев отправился к Владимиру Эльснеру, организатору прошлогоднего вечера «Острова искусств», и заручился его согласием выступить шафером. Шафером Ахматовой стал знакомый молодой офицер-литератор Иван Аксенов, недавно побывавший в политической ссылке¹⁴³. В Фомино воскресенье, 25 апреля 1910 года, Николай Гумилев венчался с Анной Ахматовой.

Деревянная Никольская церковь была невелика, увенчана шатровым куполом, традиционным в провинциальной храмовой архитектуре XIX столетия и, по воспоминаниям прихожан, очень уютна со своими иконами, украшенными домашними вышитыми рушниками. Уединенность храма и быстрота совершения обряда, на котором кроме жениха и невесты присутствовали только шаферы, наводила на мысль о *тайном венчании*. Заинтригованный Эльснер, рассказывая потом о неожиданном приключении, утверждал, что Ахматова, таясь от родных, выехала из дома в обычной будничной одежде, а в подвенечное платье переделась где-то недалеко от храма¹⁴⁴. Сама же Ахматова вспоминала только, что, выходя из Никольской церкви, она, впервые в жизни, увидела проносившийся над Никольской слободкой самолет: один из первых полетов совершал знаменитый спортсмен-авиатор Сергей Уточкин.

Это скромнейшее торжество в позабытом храме, на месте которого располагается сейчас станция «Левобережная» киевского метрополитена, стало началом семейного и творческого союза, которому было суждено сыграть огромную роль в российской истории XX века. Для двадцатилетней Ахматовой, одичавшей и заброшенной среди беспросветной провинциальной нужды и безвестности, венчание с Гумилевым стало событием, полностью изменившим ее жизнь и открывшим путь в большую русскую литературу. Но и для духовного и творческого развития Гумилева постоянное присутствие Ахматовой было жизненно необходимо. Когда та, в очередной раз, вздохнет с сожалением, что все в их семейной жизни получается не так, как хотелось, – Гумилев ответит:

– Нет: ты научила меня *верить в Бога и любить Россию!*

В этом и заключалась разгадка таинственного *акмеизма*, которому суждено будет стать *поэзией российского духовного сопротивления* в катастрофическом для страны XX веке. Однако в тот момент, когда Гумилев и Ахматова следили с паперти Никольской церкви за исчезающим в сиянии весеннего киевского неба «фарманом» Уточкина – все еще было впереди.

Все только начиналось.

¹⁴² Согласно тогдашнему административному делению, прилегающие к Киеву земли на левом берегу Днепра относились к Остерскому уезду Черниговской губернии и формально находились за городской чертой Киева. Никольская слободка располагалась вдоль береговой черты напротив Киево-Печерской лавры и с 1923 г. вошла в состав центрального городского комплекса киевского мегаполиса.

¹⁴³ «Моим шафером в Киеве был Аксенов, – рассказывал Гумилев О. А. Мочаловой. – Я не знал его и, когда предложили, только спросил – приличная ли у него фамилия, не Голопушенко какой-нибудь?» Имя Аксенова, только вступившего на литературное и общественное поприще, в 1910 г. еще ничего не говорило Гумилеву, но вскоре И. А. Аксенов достаточно громко заявит о себе и как искусствовед, автор первой русской монографии о П. Пикассо, и как поэт-авангардист, один из организаторов футуристической группировки «Центрифуга» (на средства Аксенова была издана книга стихов Б. Л. Пастернака «Поверх барьеров»). Все это время Аксенов продолжал активно заниматься революционной деятельностью. Во время гражданской войны он занимал высокие посты в Красной Армии и ВЧК, а в 1922 году возглавил Всероссийский Союз поэтов и был ректором Государственных высших театральных мастерских (ГВЫТМ).

¹⁴⁴ Возможно, рассказ Эльснера дополняет рассказ Елизаветы Дубровской (в 1910 году – слушательницы киевских Высших женских курсов) о том, как она помогала Ахматовой срочно изготовить некий парадный гардероб из подручного материала, собранного у обитательниц студенческой коммуны на Тарасовской улице. Дубровская тогда соорудила из двух пожертвованных курсистками старых шляпок одну, «такую красивую, что она всем понравилась». По всей вероятности, это и был свадебный наряд Ахматовой, которая, по словам той же Дубровской, «постоянно нуждалась в средствах».

XV

Из Киева в Париж. Парижские встречи. Видение Ахматовой. Беседы с Маковским. Из Парижа в Царское Село. Первые месяцы семейной жизни. Конфликт с Вячеславом Ивановым. Неудача Ахматовой на «башне». Ахматова и «аполлоновцы». Свадьба Ауслендера. Первая семейная ссора. Командировка в Адис-Абебу.

Супруги Гумилевы после венчания провели в Киеве неделю, которая была необходима Ахматовой, чтобы получить выходные документы с Высших женских курсов (в Петербурге она хотела продолжить образование). Кроме того, следовало предать осторожной огласке событие, свершившееся накануне в Никольской слободке. Пока Ахматова пропадала на курсах и демонстрировала свои дипломатические способности многочисленной киевской родне, Гумилев положил в банк на имя жены 2000 рублей и выписал ей личный вид на жительство¹⁴⁵. «Я хотел, – вспоминал Гумилев, – чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной». Помимо того, новобрачным предстояло путешествие в Париж – все это было сюрпризом, которым он ошеломил молодую жену во время их первого «послесвадебного» свидания.

Гумилев продолжал жить в «Национале», занятый очередной статьей для «Писем о русской поэзии», которую необходимо было отправить в «Аполлон» до отъезда. Статья открывалась разбором только что вышедшего «Кипарисового ларца». «Читателям «Аполлона» известно, что И. Анненский скончался 30 ноября 1909 г. – заключал Гумилев. – И теперь время сказать, что не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из больших поэтов...» Не вызывает никаких сомнений, что первой читательницей этих строк, а возможно, и соавтором их являлась Ахматова. Это была их совместная дань памяти Анненского.

2 мая Гумилев и Ахматова уезжали из Киева в Париж. На вокзале их провожала Инна Эразмовна Горенко, смирившаяся за минувшую неделю с участью дочери. Что же касается Ахматовой, то внезапное превращение из севастопольского и киевского «синего чулка» в независимую и обеспеченную замужнюю даму ввергло ее в эйфорическое состояние. По пути в Париж молодожены делали пересадки в Варшаве и Берлине. В берлинском поезде у них возникло какое-то недоразумение с билетами, и последние несколько часов до Парижа они должны были ехать в разных купе. Стояла жара. В купе Ахматовой находились три немца в жилетах. При виде попутчицы они тут же встали и, надев пиджаки, церемонно раскланялись. Из их разговоров Ахматова, зная немецкий, поняла, что этот жест почтения был адресован исключительно «русской даме».

– А если бы это была немка – конечно, не надели бы! – с восторгом рассказывала, воссоединившись вновь с мужем на парижском перроне, двадцатилетняя «русская дама».

По словам Ахматовой, один из немцев немедленно объявил, что хочет следовать за ней, куда бы она ни поехала, не спал и все восемь часов, не отрываясь, смотрел на нее.

– На Венеру Милосскую, – вразумительно отвечал Гумилев, – нельзя восемь часов подряд смотреть, а ведь ты же не Венера Милосская...

¹⁴⁵ По законам Российской Империи, жена, находящаяся при муже, не имела отдельного вида на жительство, а была внесена в паспорт мужа. Для самостоятельного перемещения и проживания женщина получала отдельные документы только с согласия мужа или ходатайствовала перед земским начальником, судом или императорской канцелярией о необходимости получения таковых. При этом истица должна была доказать дурное обращение мужа или его недееспособность. На личный вид на жительство имели право вдовы, жены ссыльных и находящихся в «безвременном отсутствии свыше 5 лет» (т. е. пропавших без вести). Незамужние дочери до достижения ими возраста совершеннолетия (21 год) были вписаны в паспорт отца и, в случае необходимости, получали от него разрешение на отдельный вид на жительство на определенный срок. Такой «срочный» вид на жительство несовершеннолетняя Ахматова получила от отца в 1908 г., поступая на киевские Высшие женские курсы.

И знаменитую Венеру, и «Мону Лизу», и «Прекрасную Цветочницу» Рафаэля Ахматова вскоре увидела в Лувре. Молодожены остановились в гостинице на rue Buonaparte, 10. Гумилев показывал Ахматовой свой Париж, изученный и исхоженный за два года вдоль и поперек. Помимо Лувра они побывали в музее Гюстава Моро, в музее Средневековья в отеле Ключни близ Сорбонны, видели экзотические диковины музея Гимэ¹⁴⁶, были у Деникеров в Jardin des Plantes и гуляли в Булонском лесу. В богемных кафе Латинского квартала и Монпарнаса завсегда и встречали Гумилева как старого знакомого, а его юная спутница имела всюду бурный успех. Ахматова любила рассказывать о совместном ужине с прославленным инженером-изобретателем Луи Блерио, первым пилотом Франции¹⁴⁷:

– В тот день я купила себе новые туфли, которые немного жали. И под столом сбросила их с ног. После обеда возвращаемся с Гумилевым домой, я снимаю туфли – и нахожу в одной записку с адресом Блерио!

Адресами с Ахматовой обменялись (менее экстравагантным способом) и другие парижские знакомые Гумилева. Тот представлял жену как *поэта*, но более всего Ахматова поражала пеструю богемную компанию своим даром угадывать чужие мысли и сны.

– On communique! – восхищенно повторял художник Амедео Модильяни. – Il n'y a que vous pour réaliser cela¹⁴⁸.

Четыре молодые и талантливые русские поэты¹⁴⁹ нанесли визит литературный критик журнала «Mercure de France» Жан Шюзвиль, занятый подготовкой французской «Антологии русских поэтов»¹⁵⁰. «Господин Гумилев, несомненно, сильная личность, – писал он под впечатлением от встречи. – Его можно считать наследником «парнасцев»; благодаря превосходному владению ремеслом он достигает подобных же высот». Убедившись, что собеседник является собой «редкостную смесь дерзости и прагматизма», Шюзвиль, получив экземпляр «Жемчугов», просил о дополнительном содействии; через несколько дней Гумилев принес ему некие «проекты» (до нас не дошедшие) и, по-видимому, опыты автопереводов на французский. Он был один, madame Goumileff в иезуитский монастырь, где квартировал Шюзвиль, идти постеснялась.

Безмятежное течение парижских дней оборвалось, когда Ахматова проснулась с воплем, перебудившим весь отель:

– Его не было! Не было!!..

Белая от ужаса, она, плача, не могла успокоиться:

– Не было! Никого *другого* просто не было! Как я не понимала!..

Через силу взяв себя в руки, она, клацая зубами о стакан с водой, сбивчиво рассказывала:

¹⁴⁶ Ныне парижский Музей Восточных искусств. Он был создан в 1879 г. лионским промышленником Э. Гимэ (Guimet), а через десятилетие переехал из Лиона во французскую столицу.

¹⁴⁷ Блерио был создателем оригинальной конструкции самолета-моноплана, на котором в спортивных и рекламных целях 25 июля 1909 г. за 37 минут преодолел Ла-Манш, совершив первый в истории перелет из Франции в Англию. «Воздушный мост» Блерио имел грандиозный успех и долгое время был главной темой европейских и русских газет. В дальнейшем Л. Блерио стал владельцем крупных авиастроительных предприятий, которые в годы Первой мировой войны выпустили более 10 000 самолетов.

¹⁴⁸ Мыслепередача! Это умеете делать только Вы (*фр.*).

¹⁴⁹ Молодые и талантливые русские поэты (*фр.*).

¹⁵⁰ Жан Шюзвиль (Chuzeville, 1886 – не ранее 1959) долгое время прожил в России во «Французском Меркурии», самом почтенном из литературных журналов Франции (с перерывами он выходит с... 1672 года по настоящий день) Шюзвиль вел в начале XX века обзоры новейшей русской литературы, переводил русских писателей и поэтов на французский язык. Идею «Антологии русских поэтов» подал ему Брюсов, с которым Шюзвиль познакомился в 1908 г. Брюсов же, очевидно, рекомендовал Шюзвилю своего ученика Гумилева. «Anthologie des poètes russes» с предисловием Брюсова вышла в Париже в 1913 г.; Гумилев разбирал ее достоинства и недостатки в одном из «Писем о русской поэзии».

– Мне приснилось, будто кто-то... не помню кто... Я правда не помню кто... Кто-то... мне говорит: «*Фауста* вовсе не было – это все придумала *Маргарита*... А был только *Мефистофель*...» Зачем же такие сны, зачем...

Ни возражения, ни вопросы до нее не доходили.

– Тогда, в Царском... Не было Владимира Викторовича... Совсем не было... И тебе не с кем было на дуэли... Никого не было... Были только я, ты и... – ее зубы снова застучали, – он...

– Кто?!

Но ее уже охватил бессвязный бред: «целый год... письмо... оно не могло прийти... столько времени... никого... как я...». Попросив горничную приглядеть, Гумилев кинулся за успокоительным. Возвращаясь с лекарством, он налетел у гостиницы на... Модильяни. Маленький художник, задрав голову, уставился на единственное освещенное окно во втором этаже. От бежавшего Гумилева, не здороваясь, Модильяни шарахнулся в темноту. Гумилеву было не до него – всем известно, что, напиваясь до беспамьтства, Модильяни петлял потом часами в одиночку по ночным улицам.

Странный сон оказал на Ахматову дурное действие: помрачнев, она не желала больше никуда выходить из гостиницы, сидела часами в кресле у окна, рассеянно созерцая детей с няньками, гуляющих в соседнем сквере, или бесконечно перелистывала купленные у букинистов на набережной Сены альбомы и книги.

Пред тобой смущенно и несмело
Я молчал, мечтая об одном:
Чтобы скрипка ласковая спела
И тебе о рае золотом.

Гумилев верил, что все тревоги Ахматовой исцелит волшебная сила *Музы Дальних Странствий*, которую он многократно испытал на себе. Поездку в Париж Гумилев считал началом их совместных путешествий, постоянно рассказывал о красотах Средиземноморья, о Леванте, Египте и Африке и говорил о «золотой двери», которую отворяют в душе древние священные земли. Ему в голову пришло даже написать об этом поэму, и он колебался, избрать ли темой египетскую экспедицию Наполеона Бонапарта или плаванье Колумба. Верх одержал Колумб, и начатая поэма «Открытие Америки» открывалась вдохновенным гимном странничеству:

Ах, в одном божественном движенье,
Косным, нам дано преображенье,
В нем и мы – не только отраженье,
В нем живым становится, кто жил...
О пути земные, сетью жил,
Розой вен вас Бог расположил!

В первых числах июня Гумилев и Ахматова возвращались в Петербург. Их попутчиком в *wagon-lits*¹⁵¹ оказался Маковский, также проводивший весну во Франции. Гумилев до того несколько раз встречался с ним в Париже по деловым надобностям¹⁵². Главный редактор «Аполлона» доверительно сообщил, что дискуссия о символизме накалила страсти вокруг

¹⁵¹ Спальный вагон (*фр.*).

¹⁵² В 1910 г. Маковский подготовил в Париже выставку, где экспонировались работы художников-«мирискусников», близких к «Аполлону». В редакции «Аполлона» в это же время была организована выставка французской графики, а мартовский номер журнала за 1910 г. посвящался современной французской литературе и живописи.

идейно-эстетической линии, проводимой журналом. Вячеслав Иванов получил возможность самостоятельно подготовить очередной номер (там появились и «Заветы символизма», и статья Александра Блока в поддержку «теургизма»), но призыв к обновленному символизму не нашел понимания даже у таких ветеранов, как Брюсов и Мережковский¹⁵³. Что же касается «аполлоновской» молодежи, то здесь и подавно не видели никакой необходимости в слиянии религии и искусства. Маковский был совершенно с этим согласен:

– Кому нужны эти русские вещанья, эти доморощенные рацеи интеллигентского направлення. Разве искусство, хорошее, подлинное искусство, само по себе – не достаточно объединяющая идея?

Расстроенная Ахматова не сопровождала мужа в парижских визитах, хотя Маковский очень любопытствовал. При встрече на Gare du Nord¹⁵⁴ она показалась редактору «Аполлона» удрученной и робкой («высокая, худенькая, очень бледная, с печальной складкой рта»). «По тому, как разговаривал с ней Гумилев, – вспоминал Маковский, – чувствовалось, что он ее полюбил серьезно и гордился ею». Великолепный *rárá* Макó обрушил на недоумевающую спутницу весь блеск светского красноречия. Он рассказывал о музеях и выставках, делился впечатлениями от художественной жизни, а потом вдруг любезно осведомился:

– А как Вам нравятся супружеские отношения? Вполне ли Вы удовлетворены ими?

Ахматова окончательно перепугалась, затворилась в купе и больше на глаза Маковскому старалась не показываться. В Царском Селе молодых ожидали с тревогой, хотя Анна Ивановна Гумилева приложила все усилия, чтобы своевольная брачная затея любимого сына не сказалась на повседневном мирном укладе всей семьи. Но Гумилева-Фрейганг (полная тезка Ахматовой) моментально угадала в невестке «чуждый элемент»: «Она держалась в стороне от семьи, поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и, войдя в столовую, говорила: «Здравствуйте все!» За столом большей частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург». Гумилев ничего не замечал. Он был приятно удивлен и очень рад царящему в доме покою, писал «Открытие Америки» и, штудирюя французский географический атлас Видаль ла Бланша, планировал новое совместное путешествие с женой – на Дальний Восток, в Среднюю Азию и Китай или в Африку.

А Ахматова, несмотря на юный возраст, к моменту своего водворения в дом на Бульварной была настоящим ходячим собранием разнообразных обид, страхов и подозрений. «Когда в 1910 г. люди встречали двадцатилетнюю жену Н. Гумилева, бледную, темноволосую, очень стройную, с красивыми руками и бурбонским профилем, – вспоминала она, – то едва ли приходило в голову, что у этого существа за плечами уже очень большая и страшная жизнь...» Ни в странствия, ни в геософическую «золотую дверь» она не верила. Париж ее оглушил, Царское Село показалось мертвым, отовсюду она ожидала подвоха, а муж, занятый своими идеями и манускриптами, словно нарочно не замечал ее неуверенности и страха:

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенью, белых павлинов
И стертые карты Америки...¹⁵⁵

¹⁵³ «Настаивать, чтобы все поэты были непременно теургами, столь же нелепо, как настаивать, чтобы они все были членами Государственной думы, – писал Брюсов. – А требовать, чтобы поэты перестали быть поэтами, дабы сделаться теургами, и того нелепее. Вячеслав Иванов и А. Блок – прекрасные поэты; они нам это доказали. Но выйдут ли из них, не говорю великие, но просто «хорошие» теурги, в этом вполне позволительно сомневаться. Мне, по крайней мере, в их теургическое призвание что-то плохо верится...» Статья Брюсова «О «речи рабской», в защиту поэзии» была опубликована в девятом номере «Аполлона» за 1910 г. Чуть позже в «Русском слове» (1910 г. 22 сентября) появился критический фельетон Д. С. Мережковского «Балаган и трагедия» на ту же тему.

¹⁵⁴ Северный вокзал (*фр.*).

¹⁵⁵ Анна Ахматова. «Он любил три вещи на свете...»

Впрочем, сразу по возвращении из свадебного путешествия у Гумилева появились и иные заботы, отвлекавшие от семейных интриг. После первых бесед в редакции на Мойке и походов на «башню» стало ясно, что главным виновником неудачи с пропагандой «теургии» раздосадованный Вячеслав Иванов считает именно автора «Писем о русской поэзии»:

– Ведь он глуп, да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, мало начитан... Удивляюсь, как Маковский мог дать ему возможность вести в журнале свою линию!

«Вячеслав его [Гумилева] *цукал*», – отмечал Михаил Кузмин в дневнике 8 июня 1910 г. В записи от 2 июля Кузмин выразился более определенно: «Вячеслав *ругал* последними словами Гумми, да и меня уж заодно». Жертвой этой литературной вражды пала и Ахматова, которую муж привел представлять на Таврическую. Иванов, окончательно уверовав, что от Гумилева ничего доброго быть не может, слушал стихи «Гумильвицы» (как Ахматову тут же окрестили «башенные» остряки) насмешливо:

– Какой густой романтизм!

Это прозвучало приговором, и Гумилев, расстроенный, на обратном пути даже осторожно предположил:

– Может быть, тебе и в самом деле лучше заняться танцами? Ты ведь такая гибкая!..

Вообще, с петербургским литературным окружением мужа, в отличие от его парижских знакомых, Ахматова не смогла найти общий язык. «Снобистская компания... Рестораны, «Альберы» всякие», – вспоминала она о своих первых встречах с авторами «Аполлона». Возможно, впрочем, что в возникшей острой неприязни повинны были не столько снобизм и заносчивость участников «молодой редакции», сколько болезненное самолюбие и мнительность явившейся из провинции дебютантки. Ей всюду мерещились козни и насмешки, она очень волновалась и, встречаясь с Кузминым, Ауслендером или секретарем «Аполлона» Зноско-Боровским, немедленно брала какой-то искусственный тон, казалась манерной и недалекой. Кончилось это плохо. Получив в августе приглашение на свадьбу Ауслендера и актрисы Надежды Зборовской (сестры Зноско-Боровского), Ахматова наотрез отказалась ехать к «снобам» в Окуловку, где намечалось торжество. Гумилев, который на правах друга должен был выступить шафером, разумеется, удивился и возмутился.

Тут-то и грянул первый в их совместной жизни скандал!

Ссора получилась нешуточной. В огонь полетела вся многолетняя переписка. Ахматова уехала к матери в Киев, а Гумилев, как отметил в дневнике Кузмин, был «печален» и бессмысленно бродил по Павловскому и Царскосельскому паркам, избегая «публики» и «музыки». «Чувствовалось, – вспоминал Ауслендер, – что у него огромная тоска.

– Ну, ты вот счастлив. Ты не боишься жениться?

– Конечно, боюсь. Все изменится, и люди изменятся.

И я сказал, что он тоже изменился.

Он провожал меня парком, и мы холодно и твердо решили, что все изменится, что надо себя побороть, что не надо жалеть старой квартиры, старой обстановки. И это было для нас отнюдь не литературной фразой.

Гумилев сразу повеселел и ожил:

– Ну, женился, ну, разведусь, буду драться на дуэли, что ж особенного!»

В Окуловке, по словам Ауслендера, Гумилев «трогательно входил во всякие мелочи» и «принимал самое близкое участие в свадебном ритуале». Вернувшись в Петербург, он на последнем августовском заседании редакционного совета «Аполлона», где подводились итоги первого года издания журнала, заручился согласием Маковского ссудить деньги на новую поездку в Абиссинию – в качестве «собственного корреспондента журнала «Аполлон». Вряд ли «Аполлон» испытывал в это время срочную нужду в собственном корреспон-

денте в Адис-Абебе, но главный редактор журнала знал о любовных терзаниях Гумилева и очень сочувствовал. Маковский тоже прощался с холостяцкой жизнью – избранницей была москвичка Марина Рындина. Говорили, что в имении отчима-миллионера невеста рара́ Макó носилась верхом голой амазонкой, в театр же приходила с живой змеей вокруг шеи вместо колье...

Гумилев отправил Ахматовой телеграмму:

«Если хочешь меня застать, возвращайся скорее, потому что я уезжаю в Африку».

Ахматова, получив послание, немедленно вернулась в Царское Село: окончательный разрыв вовсе не входил в ее планы. Гумилева эта неожиданная покорность потрясла еще больше, чем внезапный августовский бунт. «Я мечтал, – вспоминал он, – о веселой, общей домашней жизни, я хотел, чтобы она была не только моей женой, но и моим другом и веселым товарищем. А для нее наш брак был лишь этапом, эпизодом в наших отношениях, в сущности ничего не менявшим в них. Ей по-прежнему хотелось вести со мной «любовную войну» – мучить и терзать меня, устраивать сцены ревности с бурными объяснениями и бурными примирениями. Все, что я ненавижу до кровомщения. Для нее «игра продолжалась», азартно и рискованно. Но я не соглашался играть в эту позорную, ненавистную мне игру».

Свои планы он менять не стал, пояснив родным и знакомым:

– Между мной и моей женой решено отныне продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюбленность!

В конце сентября Гумилев уже плыл в Константинополь.

XVI

Большое африканское путешествие 1910–1911 гг. Вверх по Нилу. Из Джибути в Адис-Абебу. В русской миссии Адис-Абебы и при дворе лиджа Иасу. Африканская охота. Е. В. Сенигов. Из Адис-Абебы в Каффу. Схватки с адалями. Экваториальный лес. Кения. Порт Момбаса. Тропическая лихорадка. Трудное возвращение в Одессу.

Из Константинополя Гумилев через Кипр и Бейрут отправился в Порт-Саид. Во время морского перехода была завершена поэма «Открытие Америки». Сойдя на египетский берег, Гумилев выслал рукопись в Петербург для декабрьской книжки «Аполлона» и отправился на поезде в Каир, в последнее в своей жизни паломничество в сад Эзбекие. Путешествие стало прощанием Гумилева с Египтом. Из Каира он на нильском пароходе добрался до Хальфы, связанной железной дорогой с Порт-Саидом, и 25 октября (7 ноября) сел на пароход, который шел в Джибути:

Здравствуй, Красное море, акуля уха,
Негритянская ванна, песчаный котел,
На твоих берегах вместо влажного мха
Известняк, как чудовищный кактус, расцвел.

В Джибути Гумилев обратился за содействием к греческому купцу Иосифу Галебу, исполнявшему в африканском порту обязанности «внештатного русского вице-консула». В Адис-Абебу как раз отправлялся караван, в составе которого была русская прислуга нового поверенного в делах Российской Империи в Абиссинии Бориса Чемерзина¹⁵⁶, и Гумилев присоединился к этому каравану. Дорожное знакомство обеспечило «корреспонденту журнала «Аполлон», остановившемуся в Адис-Абебе в «Hôtel d'Imperatrice», радушный прием в русской миссии.

Из сохранившихся писем супруги Чемерзина Анны Михайловны известно, что Гумилев произвел на дипломатическую чету впечатление «богатого человека, очень воспитанного и приятного в обращении». За месяц с небольшим своего пребывания в абиссинской столице он несколько раз гостил у Чемерзиных, приезжая на муле в дом русского посланника, расположенный в нескольких милях от городского центра. Здесь Гумилев познакомился с бывшим драгуном Иваном Бабичевым, попавшим в отряд военного сопровождения миссии еще в 1890-е годы и перешедшим после женитьбы на родственнице императора Менелика II на абиссинскую службу в звании «*фитуерари*» (барона)¹⁵⁷. Другим постоянным собеседником Гумилева в русской миссии стал врач А. Н. Кохановский. Это были знатоки местных обычаев и нравов, и, вероятно, под их влиянием путешествие в Абиссинию 1910–1911 гг., в отличие от прежних странствий, приобрело познавательно-этнографический характер. Гумилев переложил на русский язык несколько абиссинских песен и заинтересовался амхарской живописью, традиции которой уходили далеко за пределы краткой истории Адис-Абебы:

¹⁵⁶ Отставной поручик лейб-гвардии Борис Александрович Чемерзин (1874–1942) с 1901 г. работал в Азиатском департаменте российского МИДа, пять лет провел на должности российского вице-консула в Болгарии, а назначение в Абиссинское представительство получил в сентябре 1910 г. Б. А. Чемерзин прибыл с женой в Адис-Абебу лишь несколькими неделями ранее Гумилева и только устраивался на новом месте. В Абиссинии он проработал до 1917 г.

¹⁵⁷ И. Ф. Бабичев некоторое время числился в России дезертиром, однако в 1904 г. получил прощение императора Николая II и к моменту знакомства с Гумилевым являлся полноправным членом русской колонии в Адис-Абебе. Его сын М. И. Бабичев стал «первым амхарским пилотом», национальным героем Эфиопии.

Абиссинец поет, и рыдает багана,
Воскрешая минувшее, полное чар:
Было время, когда перед озером Тана
Королевской столицей взносился Гондар.

Под платанами спорил о Боге ученый,
Вдруг пленяя толпу благозвучным стихом...
Живописцы писали царя Соломона
Меж царицею Савской и ласковым львом.

Посланник Чемерзин был в курсе последних новостей великой африканской империи, переживавшей в эти недели острейший политический кризис. После того как престарелый Менелик II перенес второй апоплексический удар, состояние его постоянно ухудшалось, и к сентябрю 1910 г. он, по выражению одного из лечащих европейских врачей, «жил только телесной жизнью». Смерти императора ждали со дня на день, и при дворе развернулась жестокая борьба за освобождающийся престол между внуком Менелика лиджем (принцем) Иассу, императрицей Таиту, возглавившей Государственный совет, и знатными сановниками (расами), имевшими влияние в армии и провинциях.

На православное Рождество Чемерзин выхлопотал для Гумилева приглашение на парадный обед в императорском дворце, который задавал Иассу. Это был, разумеется, политический демарш, и потому торжество проводилось с особым размахом. Всего было приглашено около трех тысяч человек, а за стенами дворца проходило угощение абиссинских войск, начавшееся в пять часов утра и завершившееся только в шесть часов вечера. В приемном зале стоял отдельный большой стол, накрытый для европейцев – дипломатов, советников, врачей и банковских служащих. Сам Иассу, пятнадцатилетний юноша, славящийся необыкновенной красотой и звериной жестокостью, сидел под прозрачными занавесями на императорском троне, окруженный телохранителями и пажами, которые дегустировали все поступающие наследнику блюда. В конце обеда состоялось отдельное угощение ветеранов и солдат императорской гвардии. «Входили войска по старшинству, – пишет А. М. Чемерзина, – и усаживались на полу, укрытом коврами и циновками, у невысоких столов, а служащие дворца вносили туши сырого мяса на больших палках, которые обносили между столами; каждый брал нож со стола и отрезал себе желаемый кусок мяса от туши».

Гумилев, по свидетельству Чемерзиной, «остался очень доволен всем, что видел». К тому же во время обеда он познакомился с одним из принцев крови, лиджем Адену, который пригласил русского путешественника на охоту в свое загородное поместье. Оставшиеся до «русского» Нового года дни Гумилев провел в разъездах с Адену и его свитой и участвовал в большой облаве в кишачем всевозможной дичью тропическом лесу. «Ночью, – писал Гумилев, – лежа на соломенной циновке, я долго думал, почему я не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодирую уменью палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно».

На «русский Новый год» Гумилев вернулся в Адис-Абебу и отпраздновал его наступление у Чемерзиных, где была установлена «елка» (дерево, похожее на русскую ель, украшенное свечками, лентами и цветами). А накануне, по-видимому, произошло событие, которое спустя много лет он вспоминал среди важнейших в жизни:

Старый бродяга в Адис-Абебе,

Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копыеносца
С приветом, составленным из моих стихов.

Автором стихотворного приветствия был Евгений Всеволодович Сенигов, один из самых ярких персонажей в истории «русской Африки» конца XIX – начала XX в. Он родился в Петербурге, учился в Московском Александровском военном училище, служил в Фергане. В 1898 г. Сенигов, по собственному выражению, «числясь неблагонадежным, эмигрировал из России в Абиссинию, где прожил безвыездно в течение 24 лет». Он полностью натурализовался, носил амхарское платье, женился на абиссинке, а о покинутой родине отзывался неприязненно и даже враждебно. При императорском дворе Сенигов входил в число доверенных лиц, в 1901 году был официально назначен «начальником правого крыла армии раса Вольдогеоргиса», т. е. одним из заместителей князя, управлявшего тогда покоренными южными территориями. До 1918 года Сенигов оставался абиссинским (имперским) администратором в озерной стране Каффа. Тут у него была собственная резиденция на реке Омо, а под Адис-Абебой – жалованная за заслуги усадьба Дауро, куда он часто приезжал, появляясь иногда и в русской миссии. Осенью – зимой 1910 г. «абиссинский администратор» Каффы был по делам в Адис-Абебе и познакомился с новым русским посланником и его женой. Гумилева в миссии он тогда не застал, но, по-видимому, заметил книгу «Жемчуга», подаренную Чемерзиным, прочитал, восхитился и решил завести знакомство с автором, по правилам местного придворного этикета. Сенигов был не чужд стихотворчеству, имел книжные собрания на обеих своих «фермах» и являлся к тому же замечательным художником, которого некоторые современники сравнивали с Полем Гогеном¹⁵⁸.

Гумилев никогда не рассказывал о своей встрече с «белым абиссинцем» – ведь Сенигов был в глазах российских властей дезертиром, перешедшим на иностранную службу, да еще и политическим смутьяном¹⁵⁹. Однако эта встреча существенно повлияла на планы Гумилева. Сразу после «русского» Нового года он внезапно покидает Адис-Абебу. Чемерзина пишет о каких-то «невероятных проектах», возникших у «корреспондента «Аполлона», которые сотрудники миссии сочли за поэтические фантазии. Все были уверены, что Гумилев отправился на родину традиционным для иностранных гостей абиссинской столицы путем – с караваном через Черчерские перевалы в Харрар, Дире-Дауа и Джибути. Между тем заключительный этап путешествия Гумилева, благодаря встрече с Сениговым, оказался и в самом деле фантастическим:

Я пробрался в глубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;
.....
И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

¹⁵⁸ Сенигов рисовал портреты абиссинских политических деятелей, батальные, охотничьи и бытовые сцены. В 1970-е журналист Сергей Кулик побывал в «резиденции» Сенигова на реке Омо, стены которой были увешаны карандашными рисунками и акварелями. Сохранились и книги на нескольких иностранных языках с пометами владельца. Местные жители относились к жилищу «белого абиссинца» благоговейно, хотя он, по словам стариков, «не посещал их уже несколько десятилетий». Несколько картин Сенигова имеются в собрании петербургской Кунсткамеры. В 1923 году он приехал в СССР, думая послужить делу установления дипломатических и культурных отношений между Абиссинией и Советом Народных Комиссаров. Любопытно, что в Совнарком Сенигов также отослал «Заявление» в стихах («Выехал я из Абиссинии, тов. Кошкин, / Чтоб эфиопам показать, сколь Совет СССР мощен, / Что подходит для всего честного пролетариата / (по-абиссински «човасуата») ...») и т. д.). На советских чиновников «Заявление» Сенигова никакого впечатления не произвело, и после 1924 г. следы его теряются.

¹⁵⁹ В письмах А. М. Чемерзиной крамольный Сенигов также не обозначен полным именем, фигурируя под латронимом «С.».

Разумеется, без помощи Сенигова Гумилеву и думать было нечего о «стране озер», т. е. о Каффе. И дело не только в том, что на пути к южным границам Абиссинии путешественника, совершенно незнакомого с этим беспокойным краем, ожидала бы неминуемая гибель. Перемещение иностранцев по стране жестко контролировалось имперскими властями, и Гумилеву по своей охоте просто не удалось бы далеко уйти от Адис-Абебы. Но Сенигов, насколько можно понять из имеющихся разрозненных сведений, предложил Гумилеву принять участие в экспедиции абиссинского военного отряда, выступавшего из столицы на очередное усмирение непокорных «сидамо» (как жители христианской метрополии называли южных мусульман и дикарей-язычников)¹⁶⁰. Неизвестно, участвовал ли сам Сенигов в походе или просто сумел прикомандировать Гумилева к отряду в качестве советника¹⁶¹. Так или иначе, но присутствие в их рядах европейца воодушевило абиссинцев. На марше из Адис-Абебы в город Гинир они пели:

Нет ружья, лучше маузера!
Нет вахмистра лучше З-Бель-Бека!
Нет начальника лучше Гумилеха!

Абиссинцы шли усмирять сомалийские племена *афар*, которых единоверцы-арабы называли *данакилями*, а христиане-амхарцы именовали *адалями* и считали сущими разбойниками:

В целой Африке нету грозней сомали,
Безотраднее нет их земли.

Ожесточенные схватки абиссинцев с *адалями* («Под ногами верблюдов сплетение тел, / Дождь отравленных копий и стрел») произошли на берегу реки Уэби на западной границе Данакильской пустыни. Гумилев впервые принимал участие в сражении, и земли под Гиниром стали для него местом боевого крещения:

Весело думать: если мы одолеем —
Многих уже одолели мы, —
Снова дорога желтым змеем
Будет вести с холмов на холмы.

Если же завтра волны Уэби
В рев свой возьмут мой предсмертный вздох,
Мертвый, увижу, как в бледном небе
С огненным черный борется бог.

¹⁶⁰ В 1909–1911 гг. среди народов «сидамо» начались волнения, спровоцированные слухами о смерти Менелика II. В поэме «Мик» (1914) Гумилев описывает разгром одного из непокорных «негусу негести» (императору) языческих племен абиссинскими войсками, пришедшими из Адис-Абебы: «Мех леопарда на плечах, / Меч на боку, ружье в руках, – / То абиссинцы. Вся страна / Их негусу покорена, / И только племя Гурабе / Своей противится судьбе, / Сто жалких деревянных пик – / И рассердился Менелик».

¹⁶¹ Именно в таком качестве под покровительством тогдашнего русского придворного фаворита в Адис-Абебе Н. С. Леонтьева начинал в 1898 г. абиссинскую карьеру в войсках Вольдегеоргиса (Уольде-Георгиса) сам Сенигов. В 1905 г. Сенигов по приказу Менелика II сопровождал в покоренную Каффу австрийского дипломата Ф. Бибера, который стал первым европейцем, описавшим эту древнюю страну.

«Черный бог» оказался повержен на берегах Уэби, и Гумилев, по-видимому, стал свидетелем весьма сурового вразумления абиссинскими карателями мятежных селений¹⁶². От Гинира отряд двинулся на юго-запад, в озерную Каффу, и тут Гумилев был вполне вознагражден за все тяготы странствия:

Европеец, если он счастливо проскользнет сквозь цепь ноющих скептиков (по большей части из мелких торговцев) в приморских городах, если не послушается зловещих предостережений своего консула, если, наконец, сумеет собрать не слишком большой и громоздкий караван, может увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тому назад: безыменные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос только Бог, скрытые в горных ущельях сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка; он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока и как коготь, скрытый в его хвосте, звенит, ударяясь о ребра; он подивится древнему племени шангалей, у которых женщина в присутствии мужчины не смеет ходить иначе, чем на четвереньках; и, если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказочных принцев. Но он должен одинаково закалить и свое тело и свой дух: тело – чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голодовок; дух – чтобы не трепетать при виде крови своей и чужой и принять новый мир, столь не похожий на наш, огромным, ужасным и дивно-прекрасным.

Неизвестно, насколько долго оставался с абиссинским отрядом Гумилев. Возможно, он побывал в резиденции Сенигова на караванном пути из Каффы в Адис-Абебу, неподалеку от впадения Омо в великое озеро Рудольфа. А может быть, на очередном марше, где-нибудь у реки *Гуммо*, поразившей его созвучием названия с собственным именем, он отделился от сениговских ашкер¹⁶³ с несколькими добровольцами, вызвавшимися сопровождать боевого товарища до первого английского форпоста в соседней с землями Каффы Кении. С такой охраной Гумилеву нечего было опасаться даже в экваториальном лесу – тем более что ратный авторитет его невероятно вырос после того, как он случайным удачным выстрелом убил слона, на которого наткнулся военный караван. Убийца слонов в глазах абиссинцев являлся великим героем: каждый подобный трофей приравнивался к сорока поверженным врагам, давал право носить в ухе золотое кольцо и выставить хвост убитого зверя перед своим домом (о своем триумфальном шествии «со слоновьим хвостом» Гумилев потом будет рассказывать петербургским знакомым).

Абиссиния оставалась позади, в небесах по ночам сияли неведомые северянам созвездия. Над Гумилевым было поразившее его *чужое небо* – в первый и единственный раз в своей жизни он пересекал границу Южного полушария:

Я поставил палатку на каменном склоне
Абиссинских, сбегających к западу, гор
И беспечно смотрел, как пылают закаты
Над зеленою крышей далеких лесов.

.....
И однажды закат был особенно красен,

¹⁶² За пять лет до того Ф. Бибер, оказавшись в Каффе, был поражен жестокостью средств, к которым прибегали абиссинские начальники, принуждая к повиновению завоеванных каффичо. Что касается Гумилева, то, отправляясь сюда в 1913 году в качестве представителя Российской Академии Наук, он будет хлопотать (безуспешно, разумеется) в Петербурге о возможности «объединить, цивилизовать или по крайней мере арабизировать... способное, хотя и очень свирепое племя данакилей», чтобы «в семье народов прибавился еще один сочлен».

¹⁶³ «В бою, – писал исследователь Абиссинии Александр Булатович, – каждый солдат дерется не за общую идею, а за себя и своего прямого начальника и повторяет только боевой клич последнего. Патриотической панэфиопийской идеи не существует, а есть *ашкер* – слуга такого-то или такого-то».

И особенный запах летел от лесов,
И к палатке моей подошел европеец,
Исхудалый, небритый, и есть попросил.

В отличие от независимой Абиссинии, с большой осторожностью впускающей на свою территорию чужеземцев, земли Экваториальной Африки были давно колонизированы англичанами, французами и немцами, вывозившими отсюда слоновую кость, кофе, ценную древесину и, главное, каучук, являвшийся источником сверхприбылей и причиной невероятных жестокостей и злоупотреблений колониальных властей. Для работы на африканских «станциях» многочисленные компании вербовали искателей быстрой наживы со всей Европы, многие из которых, разумеется, бесследно пропадали в ходе освоения новых территорий. Отряд Гумилева встретил на своем пути какого-то безумного француза, без документов, оружия и провизии, по-видимому, много дней плутовавшего по лесу и истощенного до последней степени. Был ли это в самом деле географ-путешественник из погибшей «большой экспедиции к Верхнему Конго», как предполагал Гумилев, сочиняя балладу об «Экваториальном лесе», или просто авантюрист-неудачник – навсегда осталось тайной:

Он стонал и хрипел, он хватался за сердце
И наутро, почудилось мне, задремал;
Но когда я его разбудить попытался,
Я увидел, что мухи ползли по глазам.

Я его закопал у подножия пальмы,
Крест поставил над грудой тяжелых камней
И простые слова написал на дощечке:
«Христианин зарыт здесь, молитесь о нем».

Что же касается Гумилева, то он, миновав экваториальный лес, смог, по-видимому, беспрепятственно добраться до англичан и затем – до одной из станций Угандийской железной дороги, связавшей в 1901 г. кенийский порт Кисуму на озере Виктории с портом Момбаса на побережье Индийского океана. В марте 1911 года, спустя восемьдесят дней после январского прощания с Адис-Абебой, Гумилев, сев в Момбасе на английский пароход, возвращался – через Джибути и Константинополь – в Россию:

... Я плыл и увозил клыки слонов,
Картины абиссинских мастеров,
Меха пантер – мне нравились их пятна —
И то, что прежде было непонятно,
Презренье к миру и усталость снов.

Это было трудное возвращение: тропическая лихорадка, погубившая безвестного француза в лесах Кении, настигла и Гумилева. Все время – в поезде по пути в Момбасу, потом в портовой гостинице в ожидании парохода и в желанной каюте – он испытывал внезапные приступы жара, который длился сутками, вызывая озноб, бред и странные святые виденья.

Выходят из мрака, выходят из ночи
Святой Пантелёймон и воин Георгий.

Он пробуждался, радостный, и тут же, едва осознав окружающую реальность, погружался в беспросветную, смертную тоску. Она мельком являлась и раньше, бесприютная и лютая, подобная ветхозаветной тоске отвергнутых ангелов и соблазненных ими допотопных исполинов-каинитов¹⁶⁴, теперь же длилась постоянно, пока нарастающий жар вновь не валил с ног в золотое, счастливое сонное сияние:

Вот речь начинает святой Пантелёймон
(Так сладко, когда говорит Пантелёймон):
– «Бессонны твои покрасневшие вежды,
Пылает и душит твое изголовье,
Но я прикоснусь к тебе краем одежды
И в жилы пролью золотое здоровье».

Самым странным и раздражающим было полное отсутствие чувства победительного вдохновения, которое Гумилев всегда переживал, возвращаясь из очередного странствия. Только что он совершил невероятное путешествие, далеко превосходящее все, когда-либо виденное и испытанное им, но воспоминания о пережитом нагоняли лишь печальные мысли о наивности «геософических» мечтаний о «золотой двери»:

Я молод был, был жаден и уверен,
Но дух земли молчал, высокомерен,
И умерли слепящие мечты,
Как умирают птицы и цветы.
Теперь мой голос медлен и размерен,
Я знаю, жизнь не удалась...

И, уже готовый оплакать, позабыть навсегда и отвергнуть всю свою нелепую судьбу, он проваливался вновь в лихорадочное забвение, в блаженный жар целительного инобытия:

И другу вослед выступает Георгий
(Как трубы победы, вещает Георгий):
– «От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,
Но сильного слезы пред Богом неправы,
И Бог не слышал твоего отреченья,
Ты встанешь заутра, и встанешь для славы».

В Константинополе, пересаживаясь на российский пароход до Одессы, Гумилев выглядел настолько подавленным и изможденным, что от него, как от зачумленного, шарахались местные нищие:

– «Хочешь, горбун, поменяться
Своею судьбой с моей,

¹⁶⁴ Священная История говорит о первом человечестве, уничтоженном Всемирным Потопом, как о позабывших Бога для земных удовольствий поколениях, в которых стало преобладать «семя Каина» и «всякая плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 6. 12). Произошло это потому, что прекрасных каиниток полюбили отпавшие от Бога ангелы: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рожать им: это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были злы во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем» (Быт. 6. 4–6). К этому сказанию обращено стихотворение Гумилева «Потомки Каина» (1909).

Хочешь шутить и смеяться,
Быть вольной птицей морей?» —
Он подозрительным взглядом
Смерил меня всего:
– «Уходи, не стой со мной рядом,
Не хочу от тебя ничего!»

XVII

Из Одессы в Москву и Петербург. Успехи Ахматовой. Осип Мандельштам. Литературные сплетни и провал выступления в «Аполлоне». Страстная неделя. «Божья тоска». Смертное видение. «Блудный сын». Столкновение с Вячеславом Ивановым. Духовная и творческая работа. Бунт Ахматовой.

Ступив после полугодовой разлуки на российскую землю, Гумилев отправил багажом в Петербург все африканские трофеи – коллекцию картин, звериные шкуры, чучела, экзотическое оружие и прочие диковины, – а сам, по сложившемуся обыкновению, сел в поезд до Москвы. В особнячке на 1-й Мещанской он занимал домашних Брюсова рассказами о пережитой в Красном море буре и о совершенстве телосложения эфиопок вперемешку с рассуждениями о заграничных музеях и выставках. «И тут нас всех поразила огромная эрудиция Гумилева, – вспоминала брюсовская свояченица Бронислава Погорелова. – О всемирно известных музеях он принялся говорить, как ученый-специалист по истории искусств. О знаменитых манускриптах – как изощренный палеограф. Мы прямо ушам не верили. Куда исчезли «знойные африканские танцы»?» У Брюсовых он услышал о столичной литературной сенсации вокруг... Ахматовой, которая в конце минувшего года писала московскому maître'у, присылала некие стихотворные образцы и спрашивала мнение о них¹⁶⁵. Дипломатичный Брюсов мнение не составил, не желая осложнять отношения с учеником (ибо история получалась какая-то *семейная*). Сама Ахматова встречала мужа на петербургском перроне. «В нашей первой беседе, – вспоминала она, – он, между прочим, спросил меня: «А стихи ты писала?» Я, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: «Ты поэт – надо делать книгу».

По ее словам, после памятного чтения корректуры «Кипарисового ларца» в Русском музее с ней произошел какой-то переворот. Летом в Киеве, постоянно перечитывая уже вышедшую книжку Анненского, она «сходила с ума», пробовала писать сама, искала, находила, теряла:

– Стихи шли ровной волной, до этого ничего подобного не было!

Сразу после отъезда мужа Ахматова, желая продолжить образование, подала документы на петербургские Высшие женские историко-литературные курсы, учрежденные Н. П. Раевым. Тут она встретила Вячеслава Иванова, читавшего курсисткам лекции по греческой и римской литературе. Получив настоятельное приглашение на ближайший «башенный» понедельник, Ахматова, поколебавшись, явилась на Таврическую. Среди «снобов» держалась по-прежнему сурово и гордо, слушала выступавших, а когда дошел черед до нее, прочла:

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король...

Просиявший Иванов торжественно поцеловал Гумильвице руку:

– Поздравляю, Анна Андреевна, это стихотворение – *событие в русской поэзии!*

Ахматова тут же растаяла. Затем она бывала и на «башне», и в «Обществе ревнителей художественного слова», читала стихи на домашних вечерах в Петербурге и Царском Селе

¹⁶⁵ Это одни из первых стихотворных автографов, подписанных «*Анной Ахматовой*». Само письмо, в отличие от стихов, она подписала полным именем – *Анна Андреевна Гумилева*.

– и всюду имела успех. А «теург» сажал теперь Ахматову рядом с собой и, приглашая к чтению, веско добавлял:

– Вот новый поэт, открывающий нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души Иннокентия Анненского!

Ахматова уже напечаталась во «Всеобщем журнале литературы, искусства, науки и общественной жизни», в студенческом журнале «Gaudeamus» и готовила публикацию в «Аполлоне». Из-за этой публикации Гумилеву в первые же дни после Африки пришлось выдержать натиск возмущенного юного поэта Осипа Мандельштама, до того несколько раз уже мелькнувшего – и в Париже, и в Петербурге во время издания «Острова». Маковский со смехом рассказывал о визите на Мойку почтенной матушки этого Мандельштама, которая приволокла сконфуженного сына в кабинет редактора «Аполлона» и потребовала немедленного приговора: «У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! Но если одни выдумки и глупость – ни я, ни отец не позволим. Работай, как все, не марай зря бумаги... Сделайте одолжение, скажите прямо, есть у него талант или нет?»

– Что мне оставалось? – разводил руками Маковский. – Беру листки, буквы путаными петельками, даются с трудом, стихов не разобрать. Вижу, смотрит он на меня со страдальческой мольбой. Ну, я и перешел на его сторону, за поэзию против торговли кожей. «Да, говорю, сударыня, Ваш сын – талант». А она мне: «Отлично! Значит – печатайте». Вот и... печатаем...

Теперь Мандельштам шумел, что стихотворная часть журнала попала в «безраздельное владение» семьи Гумилева, ибо вирши его жены, «наивные и слабые в техническом отношении», начисто вытеснили из апрельской книжки стихи достойных поэтов. Стихи Мандельштама, например. Гумилев сначала пытался вразумлять и даже пригласил страдальца к себе на двадцатипятилетие. Но тот был настойчив, и после очередных выпадов против «урожденной Ахматовой» (как Мандельштам неизменно величал конкурентку) Гумилев вспылал. А Мандельштам тут же стал рассказывать петербургским знакомым об его «крайней невежливости»¹⁶⁶. Впрочем, это были еще цветочки. По Петербургу циркулировали иные слухи – о завистливом деспотизме Гумилева по отношению к собственной жене, которой он якобы специально не давал ходу, чтобы рядом не было конкурента. Перед Гумилевым вдруг замаячил призрак новой «Черубины де Габриак», но теперь в роли кукловода-режиссера выступал не взбалмошный Волошин, а сам хитроумный хозяин «башни», столь эффектно открывший юное дарование.

– А вот моему мужу не нравится! – восклицала разгоряченная похвалами Ахматова.

– Что он понимает в поэзии, этот бездушный формалист! – громко сокрушался Иванов.

«Башня», взяв реванш за прошлогоднее поражение «теургов», ликовала. А тут еще и сам подзабытый за шесть минувших месяцев Гумилев, едва появившись в редакции, вдруг показал себя таким Тартареном, что над ним потешался весь «Аполлон». Распаковав пришедшие багажом коллекции, он устроил на Мойке импровизированную выставку своих африканских трофеев и выступил с поясняющей речью. Но абиссинское путешествие сложилось так, что подробно рассказать о нем в открытой российской аудитории было невозможно. Восседая в «аполлоновской» гостиной среди амхарских примитивов и груд пушистых звериных шкур, Гумилев, опуская неблагонадежные имена и опасные детали, налегал на экзотические анекдоты и охотничьи подвиги, тут же демонстрируя соответствующий трофей. Выходило какое-то пустое бессвязное хвастовство:

¹⁶⁶ На самом деле инициатива публикации стихотворений Ахматовой в № 4 «Аполлона» за 1911 год целиком принадлежала Маковскому, который предложил «взять на себя всю ответственность», если Гумилев, вернувшись из путешествия, будет недоволен.

Перьями страуса гордо украшен,
С гривой льва над челом благородным,
Пред крокодиловым зевом голодным,
Грозно отверстым, стоял он, бесстрашен...¹⁶⁷

Все обратили внимание, что Ахматова, не дождавшись завершения «доклада», покинула гостиную. Михаил Кузмин зевнул:

– Интересно, но туповато.

Слушатели веселились, а Гумилев, как будто не замечая провала, обстоятельно излагал историю добычи очередной шкурки. По всей вероятности, под конец своего несчастного выступления он уже плохо воспринимал происходящее:

Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна...

Сам день выступления не располагал к рассказам о воинственных дикарях, черных одалисках, тропических птицах и свирепых хищниках – это был *Великий Вторник*. Шла Страстная седмица и в эти торжественные и скорбные дни африканская болезнь Гумилева разыгралась так, что он уже и не знал – точно ли это привезенная из тропических лесов лихорадка или «*божья тоска*», как говорила Ахматова. Его богемные друзья, малочувствительные к православному календарю, не меняли привычек. На Великую Среду, под всеобщую Тайной Вечери, жизнерадостный Михаил Кузмин, любитель контрастов, предложил устроить интимный вечер по рассказу Теофиля Готье «Клуб гашишистов» – с наркотическими эффектами, спиритическим сеансом, наемными гуриями и продажными отроками. В полдень в ресторане на Большой Морской «аполлоновцы», закусывая, обсуждали заманчивое предложение. Гумилев в обсуждении кое-как участвовал, но потом лихорадочный жар накатил всерьез и среди всеобщего оживления он, по выражению Кузмина, «делся куда-то». В Царское Гумилев возвращался в жарком полубреду, а в храмах повсюду уже восторженным песнопением звучали причастные стихи:

«Вечери Твоей тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Слова эти, с детства знакомые, переплетались в сознании с вспыхивающими обрывками минувшего странствия, чужое небо вновь висело над головой – и музыка рождающихся строк сплелась с гремящим вокруг по всей стране пением:

Ни врагам не предам лукаво,
Ни лобзания Иуды дам
Я пути, что лег величаво,
Молчаливо лег по холмам...

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его» (Ин. 14. 6–7).

Лихорадочные сияющие сны и явь вновь начинали мешаться. Два дня Гумилев еще держался на ногах, в Великую Пятницу даже добрался до Петербурга, пытаясь решать там

¹⁶⁷ А. А. Кондратьев. «Песнь торжественная на возвращение Гумилева из путешествия в Абиссинию» (1911).

какие-то дела, а свалился уже вечером, когда отзвучали Двенадцать Евангелий и Плащаница скрылась за затворенными Царскими Вратами:

«Положиша Мя в рове преисподнем, в темных и сени смертной» (Пс. 87. 6).

В Великую Субботу 9 апреля 1911 года он был при смерти, в исступленном жару, тоскуя во время прояснения сознания до слез:

Ведь я не грешник, о Боже,
Не святотатец, не вор,
И я верю, верю, за что же
Тебя не видит мой взор?
Ах, я не живу в пустыне,
Я молод, весел, пою,
И Ты, я знаю, отринешь
Бедную душу мою!

Испуганная Ахматова не отходила от постели больного и к пасхальной заутрене не пошла. Только она и была свидетельницей, как в самый миг наступления Светлого Воскресения с беспамятным мужем стало *свершаться нечто*, словно бы он слышал радостные возгласы иерея в Екатерининском соборе, и пытался отвечать и петь с торжествующим хором, и ужасался, и радовался вместе:

В мой самый лучший, светлый день,
В тот день Христова Воскресенья,
Мне вдруг примнилось искупленье,
Какого я искал везде.
Мне вдруг почудилось, что, нем,
Изранен, наг, лежу я в чаще,
И стал я плакать надо всем
Слезами радости кипящей.

Он видел свою смерть (в подробностях, говорила Ахматова, до пыльной, мятой августовской травы). И он знал теперь твердо, что в последний миг не дрогнет, что *путь в Царство Небесное будет открыт* – и словно в недавнем африканском сне радостно удивлялся, насколько же это просто, хорошо и совсем не больно:

И умру я не на постели
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,

Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: вставай!

Рыжая Лиска, кружа по комнате, захлебывалась от радостного лая, и он, едва шевелясь от испарины, из-за ликования глупой собаки не мог ни успокоить Ахматову, ни расслышать

толком Степана Яковлевича. Тот рассудительно басил что-то сердитое про Сорбонну и про басурман-французов, не желая отпускать. Гумилев наверняка знал, что простодушный старик, конечно, и вновь не станет перечить любимому сыну. Но Лиска, вскочив лапами на кровать, оглушительно залаяла, не давая вымолвить ни слова, Георгий метнул на него гневный взгляд, Пантелеймон же сурово напомнил: *уже расточил в дальней стороне имение свое.*

– Мальчиком я поверил в символизм, *как люди верят в Бога!*

«... *Как верят в Бога!*» – в бесчисленный раз, на этот раз радостно, словно найдя какой-то окончательный ответ, повторил больной фразу, которую на разные лады твердил всю пасхальную ночь, умолк и открыл глаза. Врач, срочно прибывший в разгар фейерверков и гуляний, констатировал благополучный исход кризиса, посидел еще немного со всеми бессонными домашними пациента, шутливо сетуя на любителей африканской экзотики, и, окончательно убедившись, что опасность миновала, стал собираться восвояси:

– Теперь все будет хорошо. *Христос Воскресе!*

– *Воистину воскрес!*

Гумилев понимал, что окончательно *пришел, наконец, в себя:*

Ах, в рощах отца моего апельсины,
Как красное золото, полднем бездонным,
Их рвут, их бросают в большие корзины
Красивые девушки с пеньем влюбленным.
И с думой о сыне там бодрствует ночи
Старик величавый с седой бородою,
Он грустен... пойду и скажу ему: «Отче,
Я грешен пред Господом и пред тобою»¹⁶⁸.

Новую поэму «Блудный сын» Гумилев читал на заседании «Общества ревнителей художественного слова» 13 апреля, на третий день после Светлого Воскресенья. С начала пасхальной седмицы он был на ногах – лихорадка, к удивлению врача, быстро шла на убыль. Все теперь стало ясно, и великая евангельская притча легко переложилась в лирическую исповедь о преодоленных бывшим «учеником символистов» демонических соблазнах.

– Это слишком... Вы нарушаете пределы той свободы, с которой может поэт обрабатывать традиционные темы!..

Порозовев от возмущения, Вячеслав Иванов, выросший перед аудиторией «ревнителей», был сосредоточен и яростен. Не противостоять христианству были призваны теургисимволисты, а воспламенить его, как воспламеняли некогда древние народы неистовые вакханты и вакханки, служители бога Диониса:

– Для меня кроткий Христос – *что*, а ярый Дионис – *как*.

Со студенческой берлинской юности, видя, какой неповоротливой, бестолковой и вялой видится из Европы родная страна, Иванов страстно мечтал о России, сплоченной как один человек в несокрушимое соборное единство великой национальной религиозной идеей:

Нет, Ты народа моего,
О, Сеятель, уж не покинешь!
Ты богоносца не отринешь!

¹⁶⁸ «Придя же в себя, сказал: «сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим: прими меня в число наемников твоих» (Лк. 15. 17).

Он хочет ига Твоего!¹⁶⁹

Он мечтал о преображенной русской церкви, об огненных духовных вождях, глаголящих восторженному народу с амвонов, о вдохновенных бардах, слагающих гимны и марши для миллионов согласно поющих голосов. Но Гумилев ничего не понял, ни в чем не разобрался, стал путаться под ногами, мешать, дерзить и вот сейчас договорился до обличения символистов в духовной пагубе:

– Вам лучше знать, милостивый государь, умер ли *для Вас* символизм. Мы же, умершие, свидетельствуем, шепча на ухо пирующим на наших поминках, что смерти нет!

Всегда отрешенный взглядом от собеседника, Иванов внезапно вонзил ледяное сияние глаз прямо в лицо Гумилеву. Тот, побледнев, бестрепетно выдержал. Оба были похожи на фанатичных пастырей раскольных времен, состязающихся каждый в своей правде. Гумилев весь собрался, но совладать с Ивановым было сложно: звонкий ивановский тенор покрывал бессвязные реплики наглого юнца, терзал, рвал и швырял его навзничь. В Царское Гумилев возвращался совершенно раздавленный происшедшим. Ахматова рядом посматривала то сочувственно, то насмешливо.

– Иванов, – вяло откликнулся на очередной ее взгляд Гумилев, – как и все символисты, верит в того бога, в которого он сам хочет верить. А я – просто поверил в Бога. Вот и все.

Ахматова, не склонная к умствованиям, навела разговор на печальную судьбу великого Льва Толстого, который, добравшись до религиозных тем, бросил литературу, раздавал испуганным монахам Оптиной пустыни «душеспасительные» брошюры собственного сочинения, заново перевел Евангелие и провозгласил себя единственным пророком его истин. Жена на первых порах, конечно, поддерживала Толстого в духовных исканиях, но потом попыталась объявить душевнобольным и взять в опеку. А в ноябре прошлого года восьмидесятидвухлетний старец тайно сбежал из собственного дома да и умер на полустанке под Рязанью... Гумилев устало посмотрел на Ахматову:

– Анечка, если и я вдруг начну *пасти народы* – немедленно отрави меня, пожалуйста.

Преображение, происшедшее с ним, совсем не искало какого-то особого выражения ни среди дружеского круга, ни среди домашних. Те замечали только, что в обиходе появились православные книги, а сам он зачастил сверх обыкновенного в Екатерининский собор. «Христос победил смерть, – провозглашал там пасхальный тропарь, – Сам воскрес из мертвых и даровал жизнь всем, пребывающим в гробовом мраке!» Священники *«веселыми ногами»* (как предписывает одно из правил пасхального богослужения) бегали по поющему храму, образуя среди прихожан крестный ход и подвигая исхудавшего Гумилева с трепещущей восковой свечой в руке вместе со всеми вслед за плывущими впереди хоругвями:

Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ,
И сущим во гробех живот даровав!

Между тем в части творческой Гумилев, разведя для себя религию и искусство, стал вновь очень активен и заметен. В очередном «Письме о русской поэзии» он позабыл весь литературный Петербург, поделив накопившиеся в редакции за время его отсутствия сборники стихов на *«любительские»*, *«дерзающие»* и *«книги писателей»*, выделив затем в особую группу *«книги, стоящие вне литературы»*, а также продемонстрировав авторские типы *«способных, одаренных и талантливых»*. Кто хохотал от души, а кто, посмеиваясь, все-таки считал «научную классификацию поэтов» выходкой хулиганской, тем более что главным

¹⁶⁹ Вяч. Иванов. «Милость мира».

образцом «книги писателя», по методике Гумилева, получался сборник какой-то никому не известной москвички Марины Цветаевой.

Гумилев вновь сидел в «Аполлоне» на Мойке, принимая и наставляя молодых поэтов. Студента-юриста Михаила Зенкевича, явившего на суд тетрадь на редкость банальных стихов, он очень заинтересовал рассказом о теории «научной поэзии» французского литератора Рене Гиля, и Зенкевич, оставив шаблонные приемы, пустился экспериментировать. Курсистку Елизавету Кузьмину-Караваеву поразил его совет: взяв перо в руку, мысленно «рисовать ковры, на которых были бы бабочки, птицы, цветы и пальмы, еще обезьянки и жирафы – все, имеющее цвет, форму, неизменное, вещи». Единственным из «аполлоновских» поэтических дебютантов, с кем он никак не мог найти общий язык, была Ахматова.

– Не следует все время писать о своих вымышленных любовных похождениях и бессердечных любовниках, это дурной вкус и дурной тон, – убеждал ее Гумилев. – Нельзя же, чтобы роковые страсти с изменами, побоями и побегами бушевали на каждой странице...

Ахматова горько жаловалась, что муж придирается к ее стихам, и оставляла все как есть. На «башне» она продолжала оставаться желанной гостьей, подружилась с Верой Шварсалон и усиленно вникала в ивановскую проповедь вакхического стихийного и беззаконного безумья как необходимого условия вдохновенного творчества:

– Наше восприятие прекрасного слагается одновременно из восприятия окрыленного преодоления земной косности и восприятия нового обращения к лону Земли... Туда, за низвергающимися, кипящими в бездонности силами, в пропасть, зияющую мутным взором безумья!.. Это царство не знает межей и пределов. Все формы разрушены, грани сняты, зыблются и исчезают лики, нет личности. Белая кипень одна покрывает жадное рушение вод. В этих недрах чреватой ночи, где гнездятся глубинные корни пола, нет разлуки пола... В ней становление соединяет оба пола оцупью темных зачатий. Эта область – поистине берег «по ту сторону добра и зла»...

Зачарованная, она возвращалась в Царское Село, где Гумилев поднимался навстречу с исчерканной рукописью:

– Вот тут, я думаю, следует выразиться точнее...

Между тем после появления стихов Ахматовой в апрельском «Аполлоне» баллада о «сероглазом короле» стала кочевать, переписанная от руки, по девичьим альбомам в губерниях и уездах, грозя заполнить собой всю Империю. Открытый вечер поэтов-дебютантов в «Обществе ревнителей художественного слова» превратился в ахматовский бенефис, где прочие участники – Алексей Скалдин, Владимир Волькенштейн, Маргарита Моравская, Владимир Пяст, Сергей Радлов – подавались как пестрый гарнир к ожидаемому всей публикой основному блюду. Впервые пережив публичные овации и восторг, Ахматова уже не владела собой.

– Вот тут, я думаю, следует поискать какую-то иную рифму...

– Ничего я не буду искать! **Все равно мои стихи лучше твоих!** – и выдала вдобавок все, что слышала на «башне» о невежестве и малой образованности Гумилева.

«Он страшно обиделся, – вспоминала Ахматова. – Я потом говорила, что не лучше, что хуже, что это я так сказала – но... Ничего не помогало. Он очень обиделся». Подвергнутая бойкоту на Бульварной, Ахматова ринулась за утешением и советом на Таврическую улицу. Величаяя Вера Шварсалон ласково склонилась над плачущей, утешая, а Иванов, улыбаясь, с настойчивой вкрадчивостью заговорил, как трудно найти общий язык с тем, у кого слова – не эхо иных звуков, о которых не знаешь, откуда они приходят и куда уходят... Отводя душу, Ахматова раскрылась, что уже год ведет дивную французскую переписку с неким молодым парижским художником.

– Так вот и поезжайте же к нему, к этому художнику... А Гумилева бросьте. Может, хоть этим Вы его сделаете человеком.

Вновь на Бульварной, Ахматова решительно объявила, что немедленно уезжает... к матери в Киев. Раздосадованный Гумилев, швырнув перо, поклялся не притрагиваться больше к ее стихам:

– Не веришь мне – не надо. Хочешь, я напишу Брюсову? Ему-то ты поверишь?

На перроне, провожая жену, он продолжал недоумевать:

– Что за прихоть! Мы ведь с тобой должны быть в Слепневе!

Ахматова заверила, что в Киеве прогостит недолго, недели две. А вскоре на Таврическую из Казáтина, завершающего первый железнодорожный перегон от Киева к юго-западным границам Империи, на имя Веры Шварсалон пришло лаконичное письмо: «*Еду и пишу Вам*».

Тут же были стихи:

Твоя печаль, для всех неявная,
Мне сразу сделалась близка,
И поняла ты, что отравная
И душная во мне тоска.

XVIII

*Бежецк и Слепнево. Варвара Лампе. Семейство Кузьминых-Караваевых. Традиции усадебного быта. Племянницы Мария и Ольга. Несостоявшаяся встреча. Болезнь Маши Кузьминой-Караваевой. В Борисково. Дмитрий и Елизавета Кузьмины-Караваевы. Владимир Неведомский. Возвращение Ахматовой. В Подобине. «Бродячий цирк» и *commedia dell'arte*¹⁷⁰. С Ахматовой в Москве. Письмо Веры Неведомской. Москва, Ярославль и вновь Слепнево. «Любовь-отравительница». Убийство Столыпина.*

Восьмичасовой поезд с петербургского Николаевского вокзала прибывал в Бежецк в шесть часов утра. Лошади уже ждали: кучер Василий принялся усаживать Гумилева в допотопный шарабан. Потянулись ладные купеческие домики (город был зажиточным), мелькнула река, изящно перетянутая мостом, и белая колокольня храма на прибрежном погосте. За городом открылась знакомая огромная равнина с редкими холмами и чернеющей полосой далекого леса. До Слепнева отсюда было девять верст. В родовой усадьбе, повидавшей разных хозяев, теперь утвердилось постоянное жительство тетка Гумилева, семидесятидвухлетняя Варвара Ивановна Лампе, старшая из трех сестер Львовых. Необыкновенная красавица в молодости, Варвара Ивановна оказалась героиней любовной истории, словно сошедшей со страниц романтической беллетристики: расквартированный в уездном Бежецке лейб-гвардии уланский полк; молодой командир-улан Фридольф Янович Лампе; вспыхнувшая взаимная страсть и счастливый брак, преградой которому не смогла стать даже спесь прибалтийских аристократов, родителей жениха. После прибавления семейства лейб-гвардейский офицер, обратившись в нежнейшего мужа и отца, вышел на статскую службу, но смертельное поветрие в Царицыне безвременно сразило его, оставив безутешную вдову до конца дней носить, не снимая, траур. Судьба их дочери Констанции писана уже пером желчного реалиста: мечтательная юность, московская консерватория, солидное приданое, придирчивый и неверный супруг, скучные будни, частые ссоры, трое детей. Ныне муж Констанции Фридольфовны, подполковник в отставке Александр Дмитриевич Кузьмин-Караваев, служил по Министерству путей сообщения, был в постоянных отлучках, постаревшую жену едва замечал, на выросших дочерей и сына внимания не обращал вовсе, встречаясь с тещей, ворчливо бранился. Впрочем, как можно понять, и родниться со своими, не в пример более удачливыми братьями, железнодорожный чиновник имел мало охоты¹⁷¹. По крайней мере, родовую усадьбу Кузьминых-Караваевых Борисково (соседнюю со Слепневым) он игнорировал, предпочтя провести с семейством летний сезон у добросердечной, не чаявшей души во внуках и внучке бабушки Варвары Ивановны, вместе с Гумилевыми и Сверчковыми.

¹⁷⁰ Комедия масок (*ит.*).

¹⁷¹ А. Д. Кузьмин-Караваев (1862–1932) был одним из сыновей генерала от инфантерии Д. Н. Кузьмина-Караваева. Его старший брат Аглай, служивший в конной артиллерии, вышел в 1917 г. в отставку генерал-лейтенантом; младший брат Владимир – генерал-майором. Помимо того В. Д. Кузьмин-Караваев (1859–1927) был профессором Военно-юридической академии, видным думским деятелем I и II созывов, лидером «Партии демократических реформ».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.